

22.254K

ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ



7

ОГИЗ — ИВГИЗ — 1947

ИЗ БИБЛИОТЕКИ

поэта

*Дмитрия Николаевича
Семеновского*

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРСКА

Колич. пред. выдач

З ТМО Т. 3.600.000 З. 1653—91

Д. Семенович

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА СЕДЬМАЯ

ОГИЗ
Ивановское областное
государственное издательство
1947

кР 22. 254



с-2010

ДОКЛАД т. ЖДАНОВА О ЖУРНАЛАХ „ЗВЕЗДА“ И „ЛЕНИНГРАД“*

Товарищи!

Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой журнала «Звезда» является предоставление своих страниц для литературного «творчества» Зощенко и Ахматовой. Я думаю, что мне нет нужды цитировать здесь «произведение» Зощенко «Приключения обезьяны». Видимо, вы все его читали и знаете лучше, чем я. Смысл этого «произведения» Зощенко заключается в том, что он изображает советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными. Зощенко совершенно не интересуется труд советских людей, их усилия и героизм, их высокие общественные и моральные качества. Эта тема всегда у него отсутствует. Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта. Это копание в мелочах быта не случайно. Оно свойственно всем пошлым мещанским писателям, к которым относится и Зощенко. Об этом много говорил в свое время Горький. Вы помните, как Горький на съезде советских писателей в 1934 году клеймил, с позволения сказать, «литераторов», которые дальше копоти на кухне и бани ничего не видят.

«Приключения обезьяны» не есть для Зощенко нечто выходящее за рамки его обычных писаний. Это «произведение» попало в поле зрения критики только лишь как наиболее яркое выражение всего того отрицательного, что есть в литературном «творчестве» Зощенко. Известно, что со времени возвращения в Ленинград из эвакуации Зощенко написал ряд вещей, которые характерны тем, что он не способен найти в жизни советских людей ни одного положительного явления, ни одного положительного типа. Как и в «Приключениях обезьяны», Зощенко привык глумиться над советским бытом, советскими порядками, советскими людьми, прикрывая это глумление маской пустопорожней развлекательности и никчемной юмористики.

* Сокращенная и обобщенная стенограмма докладов т. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде.

Если вы повнимательнее вчитаетесь и вдумаетесь в рассказ «Приключения обезьяны», то вы увидите, что Зошенко наделяет обезьяну ролью высшего судьи наших общественных порядков и заставляет читать нечто вроде морали советским людям. Обезьяна представлена как некое разумное начало, которой дано устанавливать оценки поведения людей. Изображение жизни советских людей, нарочито уродливое, карикатурное и пошлое, понадобилось Зошенко для того, чтобы вложить в уста обезьяне гаденькую, отравленную антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле, и что в клетке легче дышится, чем среди советских людей.

Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения, и как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство?

Если «произведения» такого сорта преподносятся советским читателям журналом «Звезда», то как слаба должна быть бдительность ленинградцев, руководящих журналом «Звезда», чтобы в нём можно было помещать произведения, отравленные ядом зоологической враждебности к советскому строю. Только подонки литературы могут создавать подобные «произведения», и только люди слепые и аполитичные могут давать им ход. Говорят, что рассказ Зошенко обошел ленинградские эстрады. Насколько должно было ослабнуть руководство идеологической работой в Ленинграде, чтобы подобные факты могли иметь место!

Зошенко с его омерзительной моралью удалось проникнуть на страницы большого ленинградского журнала и устроиться там со всеми удобствами. А ведь журнал «Звезда» — орган, который должен воспитывать нашу молодежь. Но может ли справиться с этой задачей журнал, который приютил у себя такого пошляка и несоветского писателя, как Зошенко?! Разве редакции «Звезды» неизвестна физиономия Зошенко?!

Ведь совсем еще недавно, в начале 1944 года, в журнале «Большевик» была подвергнута жестокой критике возмутительная повесть Зошенко «Перед восходом солнца», написанная в разгар освободительной войны советского народа против немецких захватчиков. В этой повести Зошенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем: — смотрите, вот какой я хулиган.

Трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та «мораль», которую проповедует Зошенко в повести «Перед восходом солнца», изображая лю

дей и самого себя как гнусных похотливых зверей, у которых нет ни стыда, ни совести. И эту мораль он преподносил советским читателям в тот период, когда наш народ обливался кровью в неслыханно тяжелой войне, когда жизнь советского государства висела на волоске, когда советский народ нес неисчислимые жертвы во имя победы над немцами. А Зоценко, окопавшись в Алма-Ата, в глубоком тылу, ничем не помог в то время советскому народу в его борьбе с немецкими захватчиками. Совершенно справедливо Зоценко был публично высечен в «Большевике», как чуждый советской литературе пасквилянт и пошляк. Он наплевал тогда на общественное мнение. И вот, не прошло еще двух лет, не просохли еще чернила, которыми была написана рецензия в «Большевике», как тот же Зоценко триумфально въезжает в Ленинград и начинает свободно разгуливать по страницам ленинградских журналов. Его охотно печатает не только «Звезда», но и журнал «Ленинград». Ему охотно и с готовностью предоставляют театральные аудитории. Больше того, ему дают возможность занять руководящее положение в Ленинградском отделении Союза писателей и играть активную роль в литературных делах Ленинграда. На каком основании вы даете Зоценко разгуливать по садам и паркам ленинградской литературы? Почему партийный актив Ленинграда, его писательская организация допустили эти позорные факты?!

Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зоценко оформилась не в самое последнее время. Его современные «произведения» вовсе не являются случайностью. Они являются лишь продолжением всего того литературного «наследства» Зоценко, которое ведет начало с 20-х годов.

Кто такой Зоценко в прошлом? Он являлся одним из организаторов литературной группы так называемых «Серапионовых братьев». Какова была общественно-политическая физиономия Зоценко в период организации «Серапионовых братьев»? Позвольте обратиться к журналу «Литературные записки» № 3 за 1922 год, в котором учредители этой группы излагали свое кредо. В числе прочих откровений там помещен «символ веры» и Зоценко в статейке, которая называется «О себе и еще кое о чем». Зоценко, никого и ничего не стесняясь, публично обнажается и совершенно откровенно высказывает свои политические, литературные «взгляды». Послушайте, что он там говорил:

« — Вообще писателем быть очень трудно. Скажем, та же идеология... Требуется нынче от писателя идеология... Этакая, право, мне неприятность»...

«Какая, скажите, может быть у меня «точная идеология», если ни одна партия в целом меня не привлекает?»

«С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эс-эр, не монархист, а просто русский и к тому же политически безнравственный»...

«Честное слово даю — не знаю до сих пор, ну вот хоть, скажем, Гучков... В какой партии Гучков? А черт его знает в какой он партии. Знаю: не большевик, но эс-эр он или кадет — не знаю и знать не хочу» и т. д. и т. п.

Что вы скажете, товарищи, об этакой «идеологии»? Прошло 25 лет с тех пор, как Зошенко поместил эту свою «исповедь». Изменился ли он с тех пор? Незаметно. За два с половиной десятка лет он не только ничему не научился и не только никак не изменился, а, наоборот, с циничной откровенностью продолжает оставаться проповедником безидейности и пошлости, беспринципным и бессовестным литературным хулиганом. Это означает, что Зошенко как тогда, так и теперь не нравятся советские порядки. Как тогда, так и теперь он чужд и враждебен советской литературе. Если при всем этом Зошенко в Ленинграде стал чуть ли не корифеем литературы, если его превозносят на ленинградском Парнасе, то остается только поражаться тому, до какой степени беспринципности, нетребовательности, невзыскательности и неразборчивости могли дойти люди, прокладывающие дорогу Зошенко и поющие ему славословия!

Позвольте привести еще одну иллюстрацию о физиономии так называемых «Серапионовых братьев». В тех же «Литературных записках» № 3 за 1922 год другой серапионовец Лев Лунц также пытается дать идейное обоснование того вредного и чуждого советской литературе направления, которое представляла группа «Серапионовых братьев». Лунц пишет:

«Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политического напряжения. «Кто не с нами, тот против нас!» — говорили нам справа и слева, — с кем же вы, Серапионовы братья — с коммунистами или против коммунистов, за революцию или против революций?»

«С кем же мы, Серапионовы братья? Мы с пустынным Серапионом»...

«Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность... Мы не хотим утилитаризма. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь и, как сама жизнь, оно без цели и без смысла, существует потому, что не может не существовать».

Такова роль, которую «Серапионовы братья» отводят ис-

искусству, отнимая у него идейность, общественное значение, провозглашая безидейность искусства, искусство ради искусства, искусство без цели и без смысла. Это и есть проповедь гнилого аполитицизма, мещанства и пошлости.

Какой вывод следует из этого? Если Зощенко не нравятся советские порядки, что же прикажете: приспособливаться к Зощенко? Не нам же перестраиваться во вкусах. Не нам же перестраивать наш быт и наш строй под Зощенко. Пусть он перестраивается, а не хочет перестраиваться — пусть убирается из советской литературы. В советской литературе не может быть места гнилым, пустым, безидейным и пошлым произведениям. (*Бурные аплодисменты.*)

Вот из чего исходил ЦК, принимая решение о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Перехожу к вопросу о литературном «творчестве» Анны Ахматовой. Ее произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке «расширенного воспроизводства». Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т. д. и т. п., т. е. всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве.

Горький в свое время говорил, что десятилетие 1907 — 1917 годов заслуживает имени самого позорного и самого бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции, когда после революции 1905 года значительная часть интеллигенции отвернувшись от революции, скатилась в болото реакционной мистики и порнографии, провозгласила безидейность своим знаменем, прикрыв свое ренегатство «красивой» фразой: «и я сжег все, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал». Именно в это десятилетие появились такие ренегатские произведения, как «Конь бледный» Ропшина, произведения Винниченко и других дезертиров из лагеря революции в лагерь реакции, которые торопились развенчать те высокие идеалы, за которые боролась лучшая, передовая часть русского общества. На свет выплыли символисты, имажинисты, декаденты всех мастей, отрекавшиеся от народа, провозгласившие тезис «искусство ради искусства», проповедовавшие безидейность в литературе, прикрывавшие свое идейное и моральное растление погоней за красивой формой без содержания. Всех их объединял звериный страх перед грядущей пролетарской революцией. Достаточно напомнить, что одним из крупнейших «идеологов» этих реак-

ционных литературных течений был Мережковский, называвший грядущую пролетарскую революцию «грядущим Хамом» и встретивший Октябрьскую революцию зоологической злобой.

Анна Ахматова является одним из представителей этого безидейного реакционного литературного болота. Она принадлежит к так называемой литературной группе акмеистов, вышедших в свое время из рядов символистов, и является одним из знаменосцев пустой, безидейной, аристократическо-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе. Акмеисты представляли из себя крайне индивидуалистическое направление в искусстве. Они проповедовали теорию «искусства для искусства», «красоты ради самой красоты», знать ничего не хотели о народе, о его нуждах и интересах, об общественной жизни.

По социальным своим истокам это было дворянско-буржуазное течение в литературе в тот период, когда дни аристократии и буржуазии были сочтены и когда поэты и идеологи господствующих классов стремились укрыться от неприятной действительности в заоблачные высоты и туманы религиозной мистики, в мизерные личные переживания и копание в своих мелких душонках. Акмеисты, как и символисты, декаденты и прочие представители разлагающейся дворянско-буржуазной идеологии были проповедниками упадочничества, пессимизма, веры в потусторонний мир.

Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии, — поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее — это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности, — чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы, — мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой — таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, «добрых старых екатерининских времен». Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой.

«Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом...»

(Ахматова «Anno Domini»)

Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой.

Ахматовская поэзия совершенно далека от народа. Это — поэзия десяти тысяч верхних старой дворянской России, обреченных, которым ничего уже не оставалось, как только вздыхать по «доброму старому времени». Помещицы усадеб екатерининских времен с вековыми липовыми аллеями, фонтанами, статуями и каменными арками, оранжереями, любовными беседками и обветшалыми гербами на воротах. Дворянский Петербург; Царское Село; вокзал в Павловске и прочие реликвии дворянской культуры. Все это кануло в невозвратное прошлое! Осколкам этой далекой, чуждой народу культуры, каким-то чудом сохранившимся до наших времен, ничего уже не остается делать, как только замкнуться в себе и жить химерами. «Все расхищено, предано, продано», — так пишет Ахматова.

Об общественно-политических и литературных идеалах акмеистов один из видных представителей этой группки, Осип Мандельштам, незадолго до революции писал: «Любовь к организму и организации акмеисты разделяют с физиологически гениальным средневековьем»... «Средневековье, определяя по-своему удельный вес человека, чувствовало и признавало его за каждым, совершенно независимо от его заслуг»... «Да, Европа прошла сквозь лабиринт ажурно-тонкой культуры, когда абстрактное бытие, ничем не украшенное личное существование ценилось как подвиг. Отсюда аристократическая интимность, связующая всех людей, столь чуждая по духу «равенству и братству» великой революции»... «Средневековье дорого нам потому, что обладало в высокой степени чувством грани и перегородок»... «Благородная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира, как живого равновесия, роднит нас с этой эпохой и побуждает черпать силы в произведениях, возникших на романской почве около 1200 года».

В этих высказываниях Мандельштама развернуты чаяния и идеалы акмеистов. «Назад к средневековью» — таков общественный идеал этой аристократическо-салонной группы. Назад к обезьяне — перекликается с ней Зошенко. Кстати сказать и акмеисты и «Серапионовы братья» ведут свою родословную от общих предков. И у акмеистов, и у «Серапионовых братьев» общим родоначальником являлся Гофман, один из основоположников аристократическо-салонного декадентства и мистицизма.

Почему вдруг понадобилось популяризировать поэзию Ахматовой? Какое она имеет отношение к нам, советским людям? Почему нужно предоставлять литературную трибуну всем этим упадочным и глубоко чуждым нам литературным направлениям?

Из истории русской литературы мы знаем, что не раз и не два реакционные литературные течения, к которым относились и символисты, и акмеисты, пытались объявлять походы против великих революционно-демократических традиций русской литературы, против ее передовых представителей; пытались лишить литературу ее высокого, идейного и общественного значения, низвести ее в болото безидейности и пошлости. Все эти «модные» течения канули в Лету и были сброшены в прошлое вместе с теми классами, идеологию которых они отражали. Все эти символисты, акмеисты, «желтые кофты», «бубновые валеты», «ничевоки», — что от них осталось в нашей родной русской, советской литературе? Ровным счетом ничего, хотя их походы против великих представителей русской революционно-демократической литературы — Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Герцена, Салтыкова-Щедрина — задумывались с большим шумом и претенциозностью и с таким же эффектом проваливались.

Акмеисты провозгласили: «Не вносить никаких поправок в бытие и в критику последнего не вдаваться». Почему они были против внесения каких бы то ни было поправок в бытие? Да потому, что это старое дворянское, буржуазное бытие им нравилось, а революционный народ собирался потревожить это их бытие. В октябре 1917 года были вытряхнуты в мусорную яму истории как правящие классы, так и их идеологи и песнопевцы.

И вдруг на 29-м году социалистической революции появляются вновь на сцену некоторые музейные редкости из мира теней и начинают поучать нашу молодежь, как нужно жить. Перед Ахматовой широко раскрывают ворота ленинградского журнала и ей свободно предоставляется отравлять сознание молодежи тлетворным духом своей поэзии.

В журнале «Ленинград», в одном из номеров, опубликовано нечто вроде сводки произведений Ахматовой, написанных в период с 1909 по 1944 год. Там наряду с прочим хламом есть одно стихотворение, написанное в эвакуации во время Великой Отечественной войны. В этом стихотворении она пишет о своем одиночестве, которое она вынуждена делить с черным котом. Смотрит на нее черный кот, как глаз столетия. Тема не новая. О черном коте Ахматова писала и в 1909 году. Настроения одиночества и безысходности, чуждые советской литературе, связывают весь исторический путь «творчества» Ахматовой.

Что общего между этой поэзией, интересами нашего народа и государства? Ровным счетом ничего. Творчество Ахматовой — дело далекого прошлого; оно чуждо современной советской действительности и не может быть тер-

пимо на страницах наших журналов. Наша литература — не частное предприятие, рассчитанное на то, чтобы потрафлять различным вкусам литературного рынка. Мы вовсе не обязаны предоставлять в нашей литературе место для вкусов и нравов, не имеющих ничего общего с моралью и качествами советских людей. Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей молодежи? Ничего, кроме вреда. Эти произведения могут только посеять уныние, упадок духа, пессимизм, стремление уйти от насущных вопросов общественной жизни, отойти от широкой дороги общественной жизни и деятельности в узенький мирок личных переживаний. Как можно отдать в ее руки воспитание нашей молодежи?! А между тем Ахматову с большой готовностью печатали то в «Звезде», то в «Ленинграде», да еще отдельными сборниками издавали. Это грубая политическая ошибка.

Не случайно ввиду всего этого, что в ленинградских журналах начали появляться произведения других писателей, которые стали сползать на позиции безидейности и упадочничества. Я имею в виду такие произведения, как произведения Садофьева и Комиссаровой. В некоторых своих стихах Садофьев и Комиссарова стали подпевать Ахматовой, стали культивировать настроения уныния, тоски и одиночества, которые так любезны душе Ахматовой.

Нечего и говорить, что подобные настроения или проповедь подобных настроений может оказывать только отрицательное влияние на нашу молодежь, может отравить ее сознание гнилым духом безидейности, аполитичности, уныния.

А что было бы, если бы мы воспитывали молодежь в духе уныния и неверия в наше дело? А было бы то, что мы не победили бы в Великой Отечественной войне. Именно потому, что советское государство и наша партия с помощью советской литературы воспитали нашу молодежь в духе бодрости, уверенности в своих силах, именно поэтому мы преодолели величайшие трудности в строительстве социализма и добились победы над немцами и японцами.

Что из всего этого следует? Из этого следует, что журнал «Звезда», помещавший на своих страницах, наряду с произведениями хорошими, идейными, бодрыми, произведения безидейные, пошлые, реакционные, стал журналом без направления, стал журналом, помогавшим врагам разлагать нашу молодежь. А наши журналы были всегда сильны своим бодрым, революционным направлением, а не эклектикой, не безидейностью и аполитицизмом. Пропаганда безидейности получила равноправие в «Звезде». Мало того, выясняется, что Зощенко приобрел такую силу среди писательской организации Ленинграда, что даже покрикивал на несогласных,

грозил критикам прописать в одном из очередных произведений. Он стал чем-то вроде литературного диктатора. Его окружала группа поклонников, создавая ему славу.

Спрашивается, на каком основании? Почему вы допустили это противозаконное и реакционное дело?

Не случайно, что в литературных журналах Ленинграда стали увлекаться современной низкопробной буржуазной литературой Запада. Некоторые наши литераторы стали рассматривать себя не как учителей, а как учеников буржуазно-мещанских литераторов, стали сбиваться на тон низкопоклонства и преклонения перед мещанской иностранной литературой. К лицу ли нам, советским патриотам, такое низкопоклонство, нам, построившим советский строй, который в сто раз выше и лучше любого буржуазного строя? К лицу ли нашей передовой советской литературе, являющейся самой революционной литературой в мире, низкопоклонство перед ограниченной мещанско-буржуазной литературой Запада?

Крупным недостатком работы наших писателей является также удаление от современной советской тематики, одностороннее увлечение исторической тематикой, с одной стороны, а, с другой стороны, попытка заняться чисто развлекательными пустопорожними сюжетами. Некоторые писатели в оправдание своего отставания от больших современных советских тем говорят, что настала пора, когда народу надо дать пустоватую развлекательную литературу, когда с идейностью произведений можно не считаться. Это глубоко неверное представление о нашем народе, его запросах, интересах. Наш народ ждет, чтобы советские писатели осмыслили и обобщили громадный опыт, который народ приобрел в Великой Отечественной войне, чтобы они изобразили и обобщили тот героизм, с которым народ сейчас работает над восстановлением народного хозяйства страны после изгнания врагов.

Несколько слов насчет журнала «Ленинград». Тут у Зощенко позиция еще более «прочная», чем в «Звезде», так же, как и у Ахматовой. Зощенко и Ахматова стали активной литературной силой в обоих журналах. Журнал «Ленинград», таким образом, несет ответственность за то, что он предоставил свои страницы таким пошлякам, как Зощенко, и таким салонным поэтессам, как Ахматова.

Но у журнала «Ленинград» есть и другие ошибки.

Вот, например, пародия на «Евгения Онегина», написанная неким Хазиным. Называется эта вещь «Возвращение Онегина». Говорят, что она нередко исполняется на подмостках ленинградской эстрады. Непонятно, почему ленинград-

цы допускают, чтобы с публичной трибуны шельмовали Ленинград, как это делает Хазин? Ведь смысл всей этой так называемой литературной «пародии» заключается не в пустом зубоскальстве по поводу приключений, случившихся с Онегиным, оказавшимся в современном Ленинграде. Смысл пасквиля, сочиненного Хазиним, заключается в том, что он пытается сравнить наш современный Ленинград с Петербургом пушкинской эпохи и доказывать, что наш век хуже века Онегина. Приглядитесь хотя бы к некоторым строчкам этой «пародии». Все в нашем современном Ленинграде автору не нравится. Он злопахательствует, возводит клевету на советских людей, на Ленинград. То ли дело век Онегина—золотой век, по мнению Хазина. Теперь не то,—появился жилотдел, карточки, пропуска. Девушки, те неземные эфирные создания, которыми раньше восхищался Онегин, стали теперь регулировщиками уличного движения, ремонтируют ленинградские дома и т. д. и т. п. Позвольте процитировать одно только место из этой «пародии»:

В трамвай садится наш Евгений.
О, бедный, милый человек!
Не знал таких передвижений
Его непросвещенный век.
Судьба Евгения хранила,
Ему лишь ногу отдалило,
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!»
Он, вспомнив древние порядки,
Решил дуэлью кончить спор,
Полез в карман... Но кто-то спер
Уже давно его перчатки,
За неимением таковых
Смолчал Онегин и притих.

Вот какой был Ленинград и каким он стал теперь: плохим, некультурным, грубым и в каком неприглядном виде он предстал перед бедным, милым Онегиным. Вот каким представил Ленинград и ленинградцев пошляк Хазин.

Дурной, порочный, гнилой замысел у этой клеветнической пародии!

Как же могла редакция «Ленинграда» проглядеть эту злостную клевету на Ленинград и его прекрасных людей?! Как можно пускать хазиных на страницы ленинградских журналов?!

Возьмите другое произведение — пародию на пародию о Некрасове, составленную таким образом, что она представ-

ляет из себя прямое оскорбление памяти великого поэта и общественного деятеля, каким был Некрасов, оскорбление, против которого должен был бы возмутиться всякий просвещенный человек. Однако редакция «Ленинграда» охотно поместила это грязное варево на своих страницах.

Что же мы еще находим в журнале «Ленинград»? Заграничный анекдот, плоский и пошлый, взятый, видимо, из старых затасканных сборников анекдотов конца прошлого столетия. Разве журналу «Ленинград» нечем заполнить свои страницы? Разве не о чем писать в журнале «Ленинград»? Возьмите хотя бы такую тему, как восстановление Ленинграда. В городе идет великолепная работа, город залечивает раны, нанесенные блокадой, ленинградцы полны энтузиазма и пафоса послевоенного восстановления. Написано ли что-нибудь об этом в журнале «Ленинград»? Дождутся ли когда-либо ленинградцы, чтобы их трудовые подвиги нашли отражение на страницах журнала?

Возьмите далее тему о советской женщине. Разве можно культивировать среди советских читателей и читательниц присущие Ахматовой постыдные взгляды на роль и призвание женщины, не давая истинно правдивого представления о современной советской женщине вообще, о ленинградской девушке и женщине-героине, в частности, которые вынесли на своих плечах огромные трудности военных лет, самоотверженно трудятся ныне над разрешением трудных задач восстановления хозяйства?

Как видно, положение дел в ленинградском отделении Союза писателей таково, что в настоящее время хороших произведений для двух литературно-художественных журналов явно нехватает. Вот почему Центральный Комитет партии решил закрыть журнал «Ленинград» с тем, чтобы сосредоточить все лучшие литературные силы в журнале «Звезда». Это, конечно, не значит, что Ленинград при надлежащих условиях не будет иметь второго или даже третьего журнала. Вопрос решается количеством хороших, высококачественных произведений. Если их появится достаточно много и им не будет хватать места в одном журнале, можно будет создать второй и третий журнал, лишь бы наши ленинградские писатели давали хорошую в идейном и художественном отношении продукцию.

Таковы грубые ошибки и недостатки, вскрытые и отмеченные в постановлении ЦК ВКП(б) относительно работы журналов «Звезда» и «Ленинград».

В чем корень этих ошибок и недостатков?

Корень этих ошибок и недостатков заключается в том, что редакторы названных журналов, деятели нашей совет-

ской литературы, а также руководители нашего идеологического фронта в Ленинграде забыли некоторые основные положения ленинизма о литературе. Многие из писателей и из тех, которые работают в качестве ответственных редакторов или занимают важные посты в Союзе писателей, думают, что политика — это дело правительства, дело ЦК. Что касается литераторов, то не их дело заниматься политикой. Написал человек хорошо, художественно, красиво — надо пустить в ход, несмотря на то, что там имеются гнилые места, которые дезориентируют нашу молодежь, отравляют ее. Мы требуем, чтобы наши товарищи, как руководители литературы, так и пишущие руководствовались тем, без чего советский строй не может жить, т. е. политикой, чтобы нам воспитывать молодежь не в духе наплевизма и безидейности, а в духе бодрости и революционности.

Известно, что ленинизм воплотил в себе все лучшие традиции русских революционеров-демократов XIX века и что наша советская культура возникла, развилась и достигла расцвета на базе критически переработанного культурного наследия прошлого. В области литературы наша партия устами Ленина и Сталина неоднократно признавала огромное значение великих русских революционно-демократических писателей и критиков — Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Плеханова. Начиная с Белинского, все лучшие представители революционно-демократической русской интеллигенции не признавали так называемого «чистого искусства», «искусства для искусства» и были глашатаями искусства для народа, его высокой идейности и общественного значения. Искусство не может отделить себя от судьбы народа. Вспомните знаменитое «Письмо к Гоголю» Белинского, в котором великий критик со всей присущей ему страстностью бичевал Гоголя за его попытку изменить делу народа и перейти на сторону царя. Это письмо Ленин назвал одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранившим громадное литературное значение и по сию пору.

Вспомните литературно-публицистические статьи Добролюбова, в которых с такой силой показано общественное значение литературы. Вся наша русская революционно-демократическая публицистика насыщена смертельной ненавистью к царскому строю и проникнута благородным стремлением бороться за коренные интересы народа, за его просвещение, за его культуру, за его освобождение от пут царского режима. Боевое искусство, ведущее борьбу за лучшие идеалы народа — так представляли себе литературу и искусство великие представители русской литературы. Чернышевский, который

из всех утопических социалистов ближе всех подошел к научному социализму и от сочинений которого, как указывал Ленин, «веяло духом классовой борьбы», — учил тому, что задачей искусства является, кроме познания жизни, еще и задача научить людей правильно оценивать те или иные общественные явления. Ближайший его друг и соратник Добролюбов указывал, что «не жизнь идет по литературным нормам, а литература применяется сообразно направлениям жизни», и усиленно пропагандировал принципы реализма и народности в литературе, считая, что основой искусства является действительность, что она является источником творчества и что искусство имеет активную роль в общественной жизни, формируя общественное сознание. По Добролюбову литература должна служить обществу, должна давать народу ответы на самые острые вопросы современности, должна быть на уровне идей своей эпохи.

Марксистская литературная критика, являющаяся продолжательницей великих традиций Белинского, Чернышевского, Добролюбова, всегда была поборницей реалистического, общественно направленного искусства. Плеханов много поработал для того, чтобы разоблачить идеалистическое, антинаучное представление о литературе и искусстве и защитить основные положения наших великих русских революционеров-демократов, учивших видеть в литературе могучее средство служения народу.

В. И. Ленин первый оформил с предельной четкостью отношение передовой общественной мысли к литературе и искусству. Я напому вам известную статью Ленина «Партийная организация и партийная литература», написанную в конце 1905 года, в которой он с присущей ему силой показал, что литература не может быть беспартийной, что она должна быть важной составной частью общего пролетарского дела. В этой статье Ленина заложены все основы, на которых базируется развитие нашей советской литературы. Ленин писал:

«Литература должна стать партийной. В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой, — социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип *партийной литературы*, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме».

«В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или

групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела...»

И далее, в той же статье:

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания».

Ленинизм исходит из того, что наша литература не может быть аполитичной, не может представлять собой «искусство для искусства», а призвана осуществлять важную переходную роль в общественной жизни. Отсюда исходит ленинский принцип партийности литературы — важнейший вклад В. И. Ленина в науку о литературе.

Следовательно, лучшая традиция советской литературы является продолжением лучших традиций русской литературы XIX века, традиций, созданных нашими великими революционными демократами — Белинским, Добролюбовым, Чернышевским, Салтыковым-Щедриным, продолженных Плехановым и научно разработанных и обоснованных Лениным и Сталиным.

Некрасов называл свою поэзию «музой мести и печали». Чернышевский и Добролюбов рассматривали литературу как святое служение народу. Лучшие представители российской демократической интеллигенции в условиях царского строя шли за эти благородные высокие идеи, шли на каторгу, в ссылку. Как же можно забыть эти славные традиции? Как можно пренебречь ими, как можно допустить, чтобы ахматовы и зощенки протаскивали реакционный лозунг «искусства для искусства», чтобы, прикрываясь маской безидейности, навязывали чуждые советскому народу идеи?!..

Ленинизм признает за нашей литературой огромное общественно-преобразующее значение. Если бы наша советская литература допустила снижение этой своей огромной воспитательной роли — это означало бы развитие вспять, озврат «к каменному веку».

Товарищ Сталин назвал наших писателей инженерами человеческих душ. Это определение имеет глубокий смысл. Оно говорит об огромной ответственности советских писателей за воспитание людей, за воспитание советской молодежи, за недопущение брака в литературной работе.

Некоторым кажется странным, почему ЦК принял такие решительные меры по литературному вопросу? У нас не привыкли к этому. Считают, что если допущен брак в производстве

кр 22.2.54



или не выполнена производственная программа по ширпотребу, или не выполнен план заготовок леса,—то объявить за это выговор естественное дело (*одобрительный смех в зале*), а вот если допущен брак в отношении воспитания человеческих душ, если допущен брак в деле воспитания молодежи, то здесь можно и потерпеть. Между тем, разве это не более горшая вина, чем невыполнение производственной программы или срыв производственного задания? Своим решением ЦК имеет в виду подтянуть идеологический фронт ко всем другим участкам нашей работы.

За последнее время на идеологическом фронте обнаружались большие прорывы и недостатки. Достаточно напомнить вам об отставании нашего киноискусства, о засорении недоброкачественными произведениями нашего театрально-драматического репертуара, не говоря о том, что произошло в журналах «Звезда» и «Ленинград». ЦК вынужден был вмешаться и решительно поправить дело. Он не имел права смягчать своего удара против тех, кто забывает свои обязанности по отношению к народу, по отношению к воспитанию молодежи. Если мы хотим повернуть внимание нашего актива к вопросам идеологической работы и навести здесь порядок, дать ясное направление в работе, мы должны остро, как подобает советским людям, как подобает большевикам, раскритиковать ошибки и недостатки идеологической работы. Только тогда мы сумеем поправить дело.

Иные литераторы рассуждают так: поскольку за время войны народ изголодался по литературе, книг выпускали мало, постольку читатель проглотит любой товар, хотя бы и с гнильцой. А между тем это совсем не так, и мы не можем терпеть всякую литературу, какая будет подсовываться нам неразборчивыми литераторами, редакторами, издателями. Советский народ ждет от советских писателей настоящего идейного вооружения, духовной пищи, которая помогла бы выполнению планов великого строительства, выполнению планов восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства нашей страны. Советский народ предъявляет высокие требования к литераторам, хочет удовлетворения своих идейных и культурных запросов. Во время войны в силу обстановки мы не могли обеспечить этих насущных потребностей. Народ хочет осмыслить происходящие события. Его идейный и культурный уровень вырос. Он зачастую не удовлетворяется качеством тех произведений литературы и искусства, которые у нас появляются. Этого не поняли и не хотят понимать некоторые работники литературы, работники идеологического фронта.

Уровень требований и вкусов нашего народа поднялся очень высоко, и тот, кто не хочет или неспособен подняться до этого уровня, будет оставлен позади. Литература призвана не только к тому, чтобы идти на уровне требований народа, но более того, — она обязана развивать вкусы народа, поднимать выше его требования, обогащать его новыми идеями, вести народ вперед. Тот, кто не способен идти в ногу с народом, удовлетворить его возросшие требования, быть на уровне задач развития советской культуры, неизбежно выйдет в тираж.

Из недостатка идейности у руководящих работников «Звезды» и «Ленинграда» вытекает и вторая крупная ошибка. Она заключается в том, что некоторые наши руководящие работники поставили во главу угла своих отношений с литераторами не интересы политического воспитания советских людей и политического направления литераторов, а интересы личные, приятельские. Говорят, что многие вредные в идейном и слабые в художественном отношении произведения допускаются в печать в силу нежелания обидеть того или иного писателя. С точки зрения подобных работников лучше поступиться интересами народа, интересами государства, ради того, чтобы кого-либо не обидеть. Это совершенно неправильная и политически ошибочная установка. Это — все равно, что променять миллион на грош.

Центральный Комитет партии в своем решении указывает на величайший вред подмены принципиальных отношений в литературе отношениями приятельскими. Беспринципные приятельские отношения в среде некоторых наших литераторов сыграли глубоко отрицательную роль, повели к снижению идейного уровня многих литературных произведений, облегчили доступ в литературу чуждым советской литературе людям. Отсутствие критики со стороны руководителей идеологического фронта в Ленинграде, со стороны руководителей ленинградских журналов, подмена принципиальных отношений приятельскими отношениями за счет интересов народа принесли величайший вред.

Товарищ Сталин учит нас, что если мы хотим сохранить кадры, учить и воспитывать их, мы не должны бояться обидеть кого-либо, не должны бояться принципиальной, смелой, откровенной и объективной критики. Без критики любая организация, в том числе и литературная, может загнить. Без критики любую болезнь можно загнать вглубь и с ней труднее будет справиться. Только смелая и открытая критика помогает совершенствоваться нашим людям, побуждает их идти вперед, преодолевать недостатки своей работы. Там, где нет критики, там укореняется затхлость и застой, там нет места движению вперед.

Товарищ Сталин неоднократно указывает на то, что важнейшим условием нашего развития является необходимость того, чтобы каждый советский человек подводил итог своей работы за каждый день, безбоязненно проверял бы себя, анализировал свою работу, мужественно критиковал свои недостатки и ошибки, обдумывал бы, как добиться лучших результатов своей работы и непрерывно работал бы над своим совершенствованием. К литераторам это относится в такой же мере, как и к любым другим работникам. Тот, кто боится критики своей работы, тот презренный трус, не достойный уважения со стороны народа. (*Бурные аплодисменты*).

Некритическое отношение к своей работе, подмена принципиальных отношений к литераторам приятельскими широко распространены и в Правлении Союза советских писателей. Правление Союза и, в частности, его председатель т. Тихонов повинны в том неблагополучии, которое вскрыто в журналах «Звезда» и «Ленинград», повинны в том, что они не только не поставили преграды проникновению в советскую литературу вредных влияний Зощенко, Ахматовой и других несоветских писателей, но и попустительствовали проникновению в наши журналы чуждых советской литературе тенденций и нравов.

В недостатках ленинградских журналов сыграла свою роль и та система безответственности, которая сложилась в руководстве журналами при том положении в редакциях ленинградских журналов, когда неизвестно кто отвечал за журнал в целом и за его отделы, когда не могло быть элементарного порядка. Этот недостаток необходимо исправить. Вот почему Центральный Комитет своим постановлением назначил главного редактора журнала «Звезда», который должен отвечать за направление журнала, за высокие идейные и художественные качества произведений, помещаемых в журнале.

В журналах, как и в любом деле, нетерпимы беспорядок и анархия. Нужна четкая ответственность за направление журнала и содержание публикуемых материалов.

Вы должны восстановить славные традиции ленинградской литературы и ленинградского идеологического фронта. Горько и обидно, что журналы Ленинграда, которые всегда были рассадниками передовых идей, передовой культуры стали прибежищем безидейности и пошлости. Надо восстановить честь Ленинграда, как передового идеологического и культурного центра. Надо помнить, что Ленинград был колыбелью большевистских ленинских организаций. Здесь Ленин и Сталин заложили основы большевистской партии, основы большевистского мировоззрения, большевистской культуры.

Дело чести ленинградских писателей, ленинградского партийного актива состоит в том, чтобы восстановить и развить далее эти славные традиции Ленинграда. Задача работников идеологического фронта в Ленинграде и в первую голову писателей заключается в том, чтобы изгнать из ленинградской литературы безидейность и пошлятину, чтобы высоко поднять знамя передовой советской литературы, чтобы не упустить ни одной возможности для своего идейного и художественного роста, не отстать от современной тематики, не отстать от требований народа, всячески развивать смелую критику своих недостатков, критику не подхалимскую, не групповую и приятельскую, а настоящую, смелую и независимую, идейную большевистскую критику.

Товарищи, теперь для вас должно быть ясно, какой грубый промах был допущен Ленинградским городским комитетом партии, в особенности его отделом пропаганды и агитации и секретарем по пропаганде тов. Широковым, который был поставлен во главе идеологической работы и на которого в первую очередь ложится ответственность за провал журналов. Ленинградский комитет партии допустил грубую политическую ошибку, приняв в конце июня месяца решение о новом составе редакции журнала «Звезда», в который был введен и Зощенко. Только политической слепотой можно объяснить, что секретарь горкома партии т. Капустин и секретарь горкома по пропаганде т. Широков провели такое ошибочное решение. Повторяю, что все эти ошибки нужно как можно скорее и решительнее исправить с тем, чтобы восстановить роль Ленинграда в идейной жизни нашей партии.

Все мы любим Ленинград, все мы любим нашу ленинградскую партийную организацию как один из передовых отрядов нашей партии. В Ленинграде не должно быть прибежища для разных примазавшихся литературных проходимцев, которые хотят использовать Ленинград в своих целях. Для Зощенко, Ахматовой и им подобных Ленинград советский не дорог. Они хотят видеть в нем олицетворение иных общественно-политических порядков и иной идеологии. Старый Петербург, Медный всадник, как образ этого старого Петербурга, — вот что маячит перед их глазами. А мы любим Ленинград советский, Ленинград, как передовой центр советской культуры. Славная когорта великих революционных и демократических деятелей, вышедших из Ленинграда, — это наши прямые предки, от которых мы ведем свою родословную. Славные традиции современного Ленинграда есть продолжение развития этих великих революционных демократических традиций, которые мы ни на что другое не меняем. Пусть ленинградский актив смело, без оглядки

назад, без «подрессоривания» проанализирует свои ошибки, чтобы как можно лучше и быстрее выправить дело и двинуть нашу идейную работу вперед. Ленинградские большевики должны вновь занять свое место в рядах застрельщиков и передовиков в деле формирования советской идеологии, советского общественного сознания. (*Бурные аплодисменты*).

Как могло случиться, что Ленинградский горком партии допустил такое положение на идеологическом фронте? Очевидно, он увлекся текущей практической работой по восстановлению города, по подъему его промышленности и забыл о значении идейно-воспитательной работы, и это забвение дорого обошлось ленинградской организации. Нельзя забывать идейную работу. Духовные богатства наших людей не менее важны, чем материальные. Нельзя жить вслепую, не заботясь о завтрашнем дне не только в области материального производства, но и в области идеологической. Наши советские люди выросли настолько, что не будут «глотать» всякую духовную продукцию, какую бы им ни подсунили. Работники культуры и искусства, которые не перестроятся и не смогут удовлетворить выросших потребностей народа, могут быстро потерять доверие народа.

Товарищи, наша советская литература живет и должна жить интересами народа, интересами родины. Литература — это родное для народа дело. Вот почему каждый ваш успех, каждое значительное произведение народ рассматривает, как свою победу. Вот почему каждое удачное произведение можно сравнить с выигранным сражением, или с крупной победой на хозяйственном фронте. Наоборот, каждая неудача советской литературе глубоко обидна и горька народу, партии, государству. Именно это имеет в виду постановление ЦК, который заботится об интересах народа, об интересах его литературы и крайне обеспокоен положением дела у ленинградских писателей.

Если безидейные люди хотят лишить ленинградский отряд работников советской литературы его основы, хотят подорвать идейную сторону их работы, лишить творчество ленинградских писателей его общественного преобразующего значения, то Центральный Комитет надеется, что ленинградские литераторы найдут в себе силы положить предел всем попыткам увести литературный отряд Ленинграда, его журналы в русло безидейности, беспринципности, аполитичности. Вы поставлены на передовую линию фронта идеологии, у вас огромные задачи, имеющие международное значение, и это должно поднять чувство ответственности каждого подлинно советского литератора перед своим народом, государством, партией, сознание важности исполняемого долга.

Буржуазному миру не нравятся наши успехи как внутри нашей страны, так и на международной арене. В итоге второй мировой войны укрепились позиции социализма. Вопрос о социализме поставлен в порядке дня во многих странах Европы. Это не нравится империалистам всех мастей, они боятся социализма, боятся нашей социалистической страны, которая является образцом для всего передового человечества. Империалисты, их идейные прислужники, их литераторы и журналисты, их политики и дипломаты всячески стараются оклеветать нашу страну, представить ее в неправильном свете, оклеветать социализм. В этих условиях задача советской литературы заключается не только в том, чтобы отвечать ударом на удары против всей этой гнусной клеветы и нападок на нашу советскую культуру, на социализм, но и смело бичевать и нападать на буржуазную культуру, находящуюся в состоянии маразма и растления.

В какую бы внешне красивую форму ни было облечено творчество модных современных буржуазных западноевропейских и американских литераторов, а также кинорежиссеров и театральных режиссеров, все равно им не спасти и не поднять своей буржуазной культуры, ибо моральная основа у нее гнилая и тлетворная, ибо эта культура поставлена на службу частнокапиталистической собственности, на службу эгоистическим, корыстным интересам буржуазной верхушки общества. Весь сонм буржуазных литераторов, кинорежиссеров, театральных режиссеров старается отвлечь внимание передовых слоев общества от острых вопросов политической и социальной борьбы и отвести внимание в русло пошлой безидейной литературы и искусства, наполненных гангстерами, девицами из варьете, восхвалением адюльтера и похождений всяких авантюристов и проходимцев.

К лицу ли нам, представителям передовой советской культуры, советским патриотам, роль преклонения перед буржуазной культурой или роль учеников?! Конечно, наша литература, отражающая строй более высокий, чем любой буржуазно-демократический строй, культуру во много раз более высокую, чем буржуазная культура, имеет право на то, чтобы учить других новой общечеловеческой морали. Где вы найдете такой народ и такую страну, как у нас? Где вы найдете такие великолепные качества людей, какие проявил наш советский народ в Великой Отечественной войне и какие он каждый день проявляет в трудовых делах, перейдя к мирному развитию и восстановлению хозяйства и культуры! Каждый день поднимает наш народ все выше и выше. Мы сегодня не те, что были вчера, и завтра будем не те, что были сегодня. Мы уже не те русские, какими были до

1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не тот. Мы изменились и выросли вместе с теми величайшими преобразованиями, которые в корне изменили облик нашей страны.

Показать эти новые высокие качества советских людей, показать наш народ не только в его сегодняшний день, но и заглянуть в его завтрашний день, помочь осветить прожектором путь вперед — такова задача каждого добросовестного советского писателя. Писатель не может плестись в хвосте событий, он обязан идти в передовых рядах народа, указывая народу путь его развития. Руководствуясь методом социалистического реализма, добросовестно и внимательно изучая нашу действительность, стараясь глубже проникнуть в сущность процессов нашего развития, писатель должен воспитывать народ и вооружать его идейно. Отбирая лучшие чувства и качества советского человека, раскрывая перед ним завтрашний его день, мы должны показать в то же время нашим людям, какими они не должны быть, должны бичевать пережитки вчерашнего дня, пережитки, мешающие советским людям идти вперед. Советские писатели должны помочь народу, государству, партии воспитать нашу молодежь бодрой, верящей в свои силы, не боящейся никаких трудностей.

Как бы буржуазные политики литераторы ни старались скрыть от своих народов правду о достижениях советского строя и советской культуры, как бы они ни пытались вздвинуть железный занавес, за пределы которого не могла бы проникнуть за границу правда о Советском Союзе, как бы они ни тщились умалить действительный рост и размах советской культуры — все эти попытки обречены на провал. Мы очень хорошо знаем силу и преимущество нашей культуры. Достаточно напомнить потрясающие успехи наших культурных делегаций за границей, наш физкультурный парад и т. д. Нам ли низкопоклонничать перед всей иностранщиной или занимать пассивно оборонительную позицию!

Если феодальный строй, а затем буржуазия в период своего расцвета могли создать искусство и литературу, утверждающие становление нового строя и воспевающие его расцвет, то нам, строю новому, социалистическому, представляющему из себя воплощение всего, что есть лучшего в истории человеческой цивилизации и культуры, тем более по плечу создание самой передовой в мире литературы, которая оставит далеко позади самые лучшие образцы творчества старых времен.

Товарищи, чего требует и хочет Центральный Комитет? Центральный Комитет партии хочет, чтобы ленинградский

актив и ленинградские писатели хорошо поняли, что наступило время, когда необходимо поднять на высокий уровень нашу идейную работу. Молодому советскому поколению предстоит укрепить силу и могущество социалистического советского строя, полностью использовать движущие силы советского общества для нового невиданного расцвета нашего благосостояния и культуры. Для этих великих задач молодое поколение должно быть воспитано стойким, бодрым, не боящимся препятствий, идущим навстречу этим препятствиям и умеющим их преодолевать. Наши люди должны быть образованными, высокоидейными людьми, с высокими культурными, моральными требованиями и вкусами. Для этой цели нам нужно, чтобы литература наша, журналы наши не стояли в стороне от задач современности, а помогали бы партии и народу воспитывать молодежь в духе беззаветной преданности советскому строю, в духе беззаветного служения интересам народа.

Советские писатели и все наши идеологические работники поставлены сейчас на передовую линию огня, ибо в условиях мирного развития не снимаются, а, наоборот, вырастают задачи идеологического фронта и в первую голову литературы. Народ, государство, партия хотят не удаления литературы от современности, а активного вторжения литературы во все стороны советского бытия. Большевики высоко ценят литературу, отчетливо видят ее великую историческую миссию и роль в укреплении морального и политического единства народа, в сплочении и воспитании народа. Центральный Комитет партии хочет, чтобы у нас было изобилие духовной культуры, ибо в этом богатстве культуры он видит одну из главных задач социализма.

Центральный Комитет партии уверен, что ленинградский отряд советской литературы, морально и политически здоровый, быстро выправит свои ошибки и займет подобающее место в рядах советской литературы.

ЦК уверен, что недостатки в работе ленинградских писателей будут преодолены и что идейная работа ленинградской партийной организации в самый кратчайший срок будет поднята на такую высоту, какая нужна сейчас в интересах партии, народа, государства. *(Бурные аплодисменты. Все встают.)*

ВЫШЕ ИДЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Центральный Комитет партии в постановлении «О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа, 1946 года с особой силой поставил перед всеми работниками идеологического фронта задачу усиления идейно-политической работы среди населения.

«Своим решением, — заявил товарищ Жданов в докладе Ленинградскому партийному активу, — ЦК имеет в виду подтянуть идеологический фронт ко всем другим участкам нашей работы».

«Нельзя забывать идейную работу! Духовные богатства наших людей не менее важны, чем материальные».

В нашей стране победил социализм. Социалистическая система хозяйства выдержала суровые испытания в годы Великой Отечественной войны. Весь народ поднялся тогда на защиту своей социалистической Родины и одержал блестящую победу.

«Советский общественный строй оказался более жизнеспособным и устойчивым, чем несоветский общественный строй». (И. Сталин)

Перед нами сейчас стоит великая задача — завершить строительство социалистического общества и осуществить постепенный переход к коммунизму. Вооруженные сталинским учением о том, что «Коммунизм в одной стране» вполне возможен, особенно в такой стране, как Советский Союз», советские люди с воодушевлением взялись за мирный созидательный труд. Но решить задачу построения коммунизма можно лишь героическими усилиями всех советских людей, мобилизацией всех сил народа на борьбу за экономический и культурный расцвет нашей Родины. Это требует от нас всемерного усиления коммунистического воспитания населения.

Необходимо помнить при этом, что наши успехи как внутри страны, так и на международной арене не нравятся буржуазному миру. Буржуазия боится социализма, нашей социалистической страны, которая является образцом для

всего передового человечества, боится того, что «Вопрос о социализме поставлен в порядке дня во многих странах Европы». (А. Жданов).

Империалисты и их идейные прислужники — литераторы и журналисты, художники, режиссеры и драматурги всячески стараются оклеветать нашу страну, оклеветать социализм, в неправильном свете показать существующие у нас порядки, разлагающе действовать на нашу молодежь.

Именно поэтому «Все наши идеологические работники поставлены сейчас на передовую линию огня, ибо в условиях мирного развития не снимаются, а, наоборот, возрастают задачи идеологического фронта, и в первую очередь литературы». (А. Жданов).

Центральный Комитет партии вскрыл серьезные ошибки и недостатки на литературном фронте и указал пути их исправления.

Наиболее грубой ошибкой ленинградских журналов «Звезда» и «Ленинград» явилось предоставление ими своих страниц для литературного «творчества» Зощенко и Ахматовой, которые, игнорируя ленинский принцип партийности в литературе, под флагом «чистого искусства», «искусства ради искусства» проповедовали чуждые нам идеи.

Зощенко не обращал внимания на труд советских людей, на их усилия и героизм, их высокие общественные и моральные качества, нарочито изображал советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами.

Ахматова в своих стихах пропагандировала любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики и обреченности. Ахматова — типичный представитель «аристократическо-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе».

«Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в журнале, — говорится в постановлении ЦК партии, — несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среду ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой запада». Начали появляться произведения других писателей, которые стали сползать на позиции безидейности и упадочничества.

ЦК ВКП(б) резко осудил «творчество» Зощенко, Ахматовой и им подобных, указал на недостаток идейности у ряда руководящих литературных работников, потребовал от союза советских писателей, его правления и всех работников идео-

логического фронта руководствоваться в своей работе тем, «что составляет жизненную основу советского строя, — его политикой». Он призвал писателей показать энтузиазм и пафос советских людей, их трудовые подвиги, героизм наших женщин и девушек, активно работающих на фабриках, заводах, в колхозах и учреждениях, показать высокие моральные качества советских людей, раскрыть перед ними их завтрашний день, одновременно бичевать пережитки прошлого, мешающие нашему движению вперед.

Серьезные ошибки и недостатки имеют место и в работе Ивановского областного отделения союза советских писателей. Многие наши писатели плохо изучали действительность, быт и производственную деятельность советских людей, их высокие моральные и общественные качества, не умели изобразить действительность в ее революционном развитии.

В поэме М. Кочнева «Аня» единственным союзником советской партизанки показан «Генерал Мороз». В его же рассказах «Караси», «Под старой яблоней», и «Аксинья Громова» все немецкие солдаты и офицеры изображены не коварными и хитрыми врагами, а простофилями и дурачками, которых легко обманывают и уничтожают мальчишки. Эту же ошибку допустил писатель Д. Прокофьев в своем рассказе «Курносый».

В стихотворении «Моя борозда» М. Кочнев идеализирует жизнь деда-единоличника и его устами утверждает, что в жизни «никакой не надо борозды другой». В слабом в художественном отношении стихотворении «Гость» он же допускает политически неправильные сопоставления.

На низком идейном уровне написаны некоторые рассказы М. Шошина. Его повесть «Палешанин», как и повесть Л. Галич «Будущее», имеющие существенные недостатки, подробно разбирались на страницах «Литературной газеты» и подвергались справедливой критике. Отдельные стихотворения В. Жукова и И. Дружинина, напечатанные в «Альманахе» № 5—6, проникнуты нотками пессимизма.

Помещение в этом же альманахе стихов Б. Озерного является грубой ошибкой редакции альманаха.

Даже такой видный поэт, как Д. Семеновский, в своих последних стихах стремился уйти в поэзии к любованию природой.

Наличие многих из перечисленных ошибок объясняется тем, что областное отделение Союза советских писателей, как отметило в своем постановлении от 10 декабря 1946 года бюро Ивановского обкома ВКП(б), еще не стало идейным центром писательской жизни и не обеспечило выполнения

задач по созданию произведений на высоком идейном и художественном уровне.

Литературное бюро отделения и редколлегия «Ивановского альманаха» не планировали своей работы, принимали к изданию материал, часто руководствуясь не деловыми, а приятельскими отношениями.

Писатели были лишены возможности критически подойти к оценке произведений, предназначавшихся к изданию, так как перед сдачей в печать эти произведения на обсуждение не ставились.

Ивановские писатели плохо были связаны с народом, почти не выступали перед рабочими, колхозниками, интеллигенцией и молодежью.

Постановление ЦК ВКП(б), доклад товарища Жданова и решение бюро Ивановского обкома партии помогли писателям вскрыть свои ошибки и недостатки, наметить путь к их исправлению.

Первый шаг в этом направлении сделан — писатели стали больше общаться с народом. За последние два месяца проведено более 10 встреч писателей с читателями.

Писатели активно стали включаться в общественно-политическую жизнь. В дни избирательной кампании они выступали в газете и по радио с очерками о кандидатах в депутаты, на избирательных участках с чтением своих произведений.

Совместно с редакцией газеты «Рабочий край» отделение Союза советских писателей провело областной конкурс на лучший очерк и рассказ, что способствовало выявлению начинающих писателей.

В плане работы писателей большое место стала занимать тематика, связанная с жизнью и работой ивановских текстильщиков. Уже издана и получила хороший отзыв читателей и критики книга М. Кочнева «Серебряная пряжа» (сказы ивановских ткачей).

М. Шошин работает над повестью «Возвращение» — о жизни колхозной деревни, А. Благов готовит к изданию книгу стихов о стахановцах текстиля. Seriously работают и другие писатели.

Однако бесспорно, что в деле выполнения указаний ЦК ВКП(б) сделан только первый шаг. Чтобы решительным образом повысить идейное и художественное качество издаваемых произведений, отделению Союза советских писателей предстоит большая работа, одним из важнейших условий этого является непрерывная политическая учеба писателей, их тесная связь с народом, развертывание принципиальной критики всех недостатков, превращение областного отделения ССП в идейный центр литературной жизни области.

А. Благов

9 ФЕВРАЛЯ

Бледнеют звезды в небе ясном.
Поют куранты — шесть утра.
На избирательный участок
Зовет дорога со двора.

Прохладой утренней веселой
Нас обнимает тишина.
Зовет приветливая школа,
Огнями вся озарена.

Навстречу — яркие плакаты
И флагов алая краса.
Идем отдать за депутата
По праву наши голоса.

В суровых битвах это право
Отвоевала нам страна:
За мир ее, за честь и славу
Проголосуем мы, жена.

Мы — старики, мы испытали
Неволи черные года;
Чужие руки пожинали
Плоды народного труда.

Без света мы брели в тумане,
Не видя жизни молодой;
Не для себя мы ткали ткани
Под сводом фабрики чужой.

На богача мы спину гнули,
В подвале жили, как в норе.
И вот мы молодость вернули —
Ее узнали в Октябре.

Как праздник наш сегодня славен!
Как много радости вокруг!
Из нас любой другому равен,
Сосед соседу — брат и друг.

Мы голосуем вместе с ними
За светлый сталинский закон,
За дорогое сердцу имя
Вождя народов и племен.

За силу нашу боевую,
Что нас хранит от всяких бед,
За нашу партию родную —
Организатора побед.

За всех людей, в работе стойких,
Себя прославивших трудом;
За новый план великой стройки
Мы полный голос отдаем.

И, сколько б нам ни жить на свете,
Не позабудем мы с тобой,
Как был торжественен и светел
Февральский день страны родной!

ИВАНОВО

Текстильный город. Давняя пора.
Призыв гудков томительный и резкий,
Станки грохочут с раннего утра.
Полиция на каждом перекрестке.

И грязь, и тьма. У запертых ворот
Дежурит стража, шашками бряцая.
Голодная толпа рабочих ждет.
Угрюмо смотрит фабрика чужая.

Лачуги ветхие, особняки.
И в самом центре — мусорная свалка.
Взметая пыль, проскачут казаки,
Извозчик протрусит на кляче жалкой.

Цена труда — ничтожные гроши,
Глухой острог да плети для рабочих.
Зато не в меру пухли барыши
Куваевых, Бурьдиных и прочих.

Был ненавистен их проклятый гнет,
Самодержавья ржавые оковы...
Забыть ли нам мятежный пятый год,
Большевиков волнующее слово!

Так занималась первая заря.
В ее лучах, сквозь грозные годы,
Пришли к высотам, к солнцу Октября
В одну семью сплоченные народы.

Неузнаваем город наш родной,
Свободным, новым встал он перед нами:
До края полный жизнью трудовой,
Сверкающий чудесными дворцами.

Неизмерим и верен шаг труда,
В широких плечах — сила молодая.
Могучий ток раскинул провода,
И весел говор звонкого трамвая.

Мы строили. Все дальше нас вели
Дни пятилеток — славные дороги!
Мы знамя наше с честью пронесли,
Перетерпев военные тревоги.

И вновь настала светлая пора —
Мы на подъеме новой пятилетки:
Торопятся станки и ватера,
Горят на тканях яркие расцветки.

Так пусть работа спорится, и в ней
Пусть не хладеет пыл соревнования!
Поможем строить родине своей
Мы коммунизма солнечное зданье!

* * *

Когда станки гремят вокруг
И метры ткани льются дружно,
В то время знаю, милый друг,
Моих стихов тебе не нужно.

Ты — вся вниманье и порыв,
Своим трудом ты правишь смело.
А я доволен и счастлив
Слежу за ростом ткани белой.

В груди моей уже горят
Живые искры первых строчек...
Станки бегут за рядом ряд,
Меж них мелькает твой платочек.

Но дома, в поздней тишине,
Придет желанный час досуга.
Тогда ты вспомнишь обо мне
И по стихам узнаешь друга.

ПРЕДВЕСЕННЕЕ

I

Не много дней твоих осталось,
Зима — холодная краса:
Заметна мне твоя усталость,
Твои слабеют голоса.

Где песни прежние, что пели,
Взметая пухлые снега,
Твои разгульные метели,
Ночная буйная пурга?

Морозец робкою походкой
Пройдет вдоль улиц поутру.
А в полдень слышу над слободкой
Капельки звонкую игру.

Все чаще ветер предвесенний
Ко мне влетает на крыльцо,
Порой неожиданно хлынет в сени,
Повеет ласково в лицо.

Еще под снегом спят лужайки,
И речка дремлет в тишине,
А воробьев веселых стайки
Уж про весну щебечут мне.

II

Слышу голос ручейков звенящих.
Набухают влагой облака.
Дней весенних, самых настоящих,
Кажется пора недалека.

Что ж, спеши, пригожая погода!
Заживем с тобою мы в ладу:
На поля, участки, огороды
Мы придем, готовые к труду.

Не впервые от станков фабричных
Мы придем к земле твоей, весна;
Нет, из рук умелых и привычных
В эту землю лягут семена!

Впереди — счастливые удачи:
Все, что надо, от земли возьмем,
Чтобы жизнь полнее и богаче
Развернулась в городе родном!

М. Шошин

ГДЕ-ТО ЕСТЬ ДЕВУШКА...

Председателем колхоза у нас Леонид Кокосников. Молодой, высокий, широкоплечий, говорит мало, ходит тихо, а каждый день весь колхоз обойдет, во всех уголках побывает. Скажет как будто невзначай, а знай, что это всерьез, твердо.

Утром он первым делом зайдет ко мне, посмотрит счета, поговорит о приходе и расходе на этот день. Любит он в денежных делах порядок, как и во всех других. Счетное дело с ним вести хорошо. От меня он отправляется по фермам и полям. То одного остановит, то другого, упрется взглядом и протянет басом:

— Ну-у — как?

— А чего?

— Сделал?

— Немножко осталось.

— Доделай, вечером проверю.

Он памятливы, тверд в решениях, заботлив, взыскателен, и колхозники любят его, ценят.

Бывают дни, когда угрюмость с него как бы спадает, он становится разговорчивее, в правление приходит в новой рубашке и при орденах, и я уж тогда себе говорю: «Сегодня районный пчеловод приедет».

У нас в колхозе большая пасека, примерной в районе считается, к нам из других колхозов ходят изучать постановку дела. Районный пчеловод у нас часто бывает, помогает содержать пасеку в образцовом состоянии.

В тот злополучный день председатель явился с утра нарядный, свежесбривший и частенько поглядывал в окно.

Она, пчеловод наш районный, приехала на велосипеде.

Любила она ездить затерянными полевыми тропками и дорожками, ездил медленно, чтобы не вспотеть: «Пчела, — говорила она, — не любит, видите ли, запаха пота». Да и все-то она делала неторопливо, аккуратно, основательно, чисто. Ходила осторожно и как-то даже величаво.

Явилась она к нам в правление ясная, свежая... В волосах ее синел один-единственный василек и придавал всему ее облику какую-то праздничность. Мы сразу как-то все подтянулись, и мне захотелось даже бумаги прибрать на столе.

Родом она из деревни Полянихи, нашего района. Отец ее имел пяток ульев на своем огороде. Дочурка тут и пристрастилась к пчелам. Окончив семилетку, она разыскала пчеловодный техникум где-то на юге и укатила туда учиться. Окончив его, она стала работать пчеловодом при районном земельном отделе.

У нас в колхозе относились к ней все почтительно. Ее красота, какое-то внешнее и внутреннее благородство, ее неторопливый, но твердый и ясный ум невольно вызывали уважение.

— Пчелы ее очень любят, — заметил в правлении однажды наш пасечник.

— Ее любят не только пчелы, — как-то загадочно отозвался председатель.

В глаза мы ее величали, как полагается, Натальей Ивановной, а между собой звали «Пчелкой».

Моя мать, бойкая, острая на язык, не раз говорила мне:

— Чиста, кругла и крепка, как мытая репка. Ну-у и пчелка... Летаёт, жужжит, только невдомек мне: на какой цветок сядет и кого ужалит. Таких бабочек мужья по гроб жизни любят. Будь я парнем, была бы она моей.

Я понимал, на что она намекает, но делал вид, что это меня не касается, а сердце мое ныло, горько ныло. Сколько раз я старался заинтересовать Пчелку собой. Прочитал целую кучу книжек по пчеловодству, толкался на пчельнике, чтобы показаться ей человеком родственных интересов, писал стихи о ней — ничто не тронуло ее. С фронта я вернулся по ранению задолго до победы и возобновил всё — и опять без успеха. «Она кого-то ждет», — сказал я себе, и не ошибся. Потом явился с фронта Леонид, и мне все стало ясно.

...Придя в правление, она равнодушно кивнула мне, тихо опустила на стул и еле слышно зажужжала с колхозницами о чем-то. Леонид зарумянился, глаза его посветлели, и он без надобности стал перекладывать бумаги, стараясь показать ей, что его левая рука, сильно подбитая на войне осколком, оживает, начинает действовать.

Явились председатель ревизионной комиссии Леванов и наш колхозный пчеловод Комарьков.

Оказалось, что Наталья Ивановна приехала на пчельник снимать рекордный взятки. Его должны видеть — председа-

тель колхоза, председатель ревизионной комиссии и она, районный пчеловод, взвесить, составить акт, заверить его...

Они ушли. В правлении стало тихо, тоскливо. Я смотрю в окно. Жаркий летний день, тишина такая, что кажется мне — мягким тяжелым грузом она лежит на крышах, улицах, полях, мешая передвигаться...

Тихо-тихо идут все в ряд — Леонид, Пчелка, Леванов и Комарьков. На груди Леонида сияют ордена, на голове Пчелки синее василек, в руках Леванова белеют бумаги... Мне что-то не по себе, я расстроен, воспринимаю все остро, замечаю каждую мелочь; одно меня умиляет чуть ли не до слез, другое раздражает, мне душно, тишина кажется гнетущей, она теснит меня...

Я смотрю на Пчелку. Она, всегда верная себе, идет плавно, величаво, изредка кивает встречным своей маленькой гордой головой.

Сердце мое рвется к ней, она мне кажется то близкой, то далекой и совершенно недоступной.

Наконец-то они скрываются за селом, в молодом саду, где находится пчельник. Я щелкаю на счетах, гляжу на бумаги, а цифры мелькают, толкутся, как рой комаров, а в голову лезут стихи: «не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа, со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда» — и повторяются без конца. Работать я не могу, а все сижу и сижу и жду чего-то, а чего жду — и сам не знаю. А может, они еще зайдут сюда.

Почти до вечера я просидел и не дождался. Все они исчезли куда-то.

К вечеру заявляется ко мне Фома Кокосников, отец председателя:

— Прибери у него тут со стола бумаги-то...

Он встревожен чем-то, угрюм, и я спрашиваю:

— А где Леонид Фомич?

— Беда с ним, — с досадой машет рукой старик, — проруха вышла. Кругляшка эта завела его сегодня на пчельник медовый рекорд оглядывать, а пчелы вдруг тучей надели на него и так изжалили, что парень распух весь, при смерти лежит. Сейчас я от него из больницы иду, а навстречу пчеловодка бредет, голову повесила, велосипед еле-еле катит. Остановила меня, беспокоится:

— Хожу, — говорит, — думаю и понять не могу — почему это пчелы на него напали?!

— Известно, — говорю, — почему: пчелы грешников жалят, грех за ним какой-нибудь значит...

— Вы шутите, — говорит, — это не научно.

— Тогда как же будет по-научному?

— Не могу пока определить. Может, он потный был, — прикидывает она как бы про себя, — да нет, этого не может быть...

— А с чего ему потеть, — говорю, — разве с того, что за столом посидит да по колхозу пройдетя.

— Может, — говорит, — он был в нетрезвом виде? Пчелы не любят винный дух.

— Ни капли вина в колхозе нет, давно не привозили.

Повела этак плечом, приладилась на велосипед, тронулась и говорит:

— Ничего не понимаю.

А я ей вдогонку говорю:

— Понятно все — грешник он.

Через день она незаметно, неслышно опять появилась в правлении. Кивнула мне ласково, жалостно, тихо опустилась на диван, сидит и молчит.

Я говорю:

— Вы к Леониду Фомичу? Он еще из больницы не вышел.

— Я знаю.

— Может быть, ко мне?

— Да, к вам.

— Первый, — говорю, — раз это, только не могу понять: зачем?

— А вот угадайте?

Да! Зачем же это? Кто знает девичью душу? Надежда хлынула мне в сердце. Я внезапно оживился, подсел к ней и откровенно изложил все свои переживания. Будь что будет! Она выслушала меня и стала грустной, грустной. Посмотрела мне в глаза прямо, сожалительно и говорит:

— Я знаю, что вы меня пчелой зовете.

— Пчелкой, — говорю.

— Ну, все равно. Нет розы без шипов и нет пчелы без жала. Я ужалю вас, если отвечу искренно на ваше признание. Нужно ли это?

Я сел на свое место и твердо, с досадой говорю:

— Не нужно, мне сейчас все стало понятно.

— Вы человек интеллигентный, десятилетку кончили...

— Ну, и что из этого?

— Поймете меня и простите, зная, что любви требовать нельзя, она приходит, как награда, или ее приносят, как подарок, или еще что-то в этом роде.

— Спасибо за пояснение, — говорю, — все это верно, я не нуждаюсь в любви из жалости, милости и снисхождения.

Где-то есть девушка, которая всем сердцем полюбит и меня. Только я до сих пор никак не пойму, зачем вы сегодня пришли ко мне.

— А вот зачем: скажите, почему на Леонида пчелы напали?

Тут мне вспомнились слова старика Кокошникова, и я говорю:

— Известно почему — пчелы грешников жалят.

— Что вы все здесь, словно заучили — грешников, грешников... Не до шуток мне.

— Не перебивайте меня, дайте закончить мысль. Он грешник, любит вас, каждый раз к вашему приезду он готовится, как к празднику: одевается во все лучшее, бреется, прыскается одеколоном, а в нем спирт, а пчелы, как вы, помнится, говорили, не любят этого запаха.

И первый раз я тут видел, как она заторопилась — поднялась и быстро вышла. Я видел в окно, как она, изменив своей всегдашней привычке делать все не торопясь, поспешно вскочила на велосипед и помчалась за село в больницу.

Дня через три Леонид является на работу, крепко жмет мне руку:

— Ты ей, видно, все размолот?!

— Размолот, — признаюсь я, — но это, кажется, тебе на пользу пошло.

— Верно, Саша, на пользу, — ухмыляется Леонид. — Приехала она тогда ко мне в больницу и ну меня донимать:

— Зачем в этот день одеколоном напыскался?

— Брился, — говорю...

— А почему непременно в этот день бриться надо было?

— А потому что в эти дни я всегда бреюсь.

— А в какие это дни?

— Да в такие, когда вы приезжаете.

Она тут глаза опустила, руками чего-то перебирает и еле слышно говорит:

— Так при чем же тут я?

— Да при том, — говорю, — что вы дороже мне всех на свете.

Леонид замолчал, а я смотрю в сторону и бормочу одобрительно:

— Ну, вот и объяснились, вот и хорошо.

Проходит день, другой... От людей я слышу, что Леонид с Пчелкой решили пожениться, вот-вот будет свадьба.

Да, будет свадьба! Леонид молчит, на свадьбу не приглашает, и это мне почему-то обидно.

Тянутся дни, работается мне безрадостно. Все для меня стало серым, неинтересным. Леонид, друг детства, товарищ по фронту и работе, кажется теперь чужим, сухим человеком. Я не говорю ничего с ним, не жду приглашения, мне все равно, я впал в какое-то онемение, целыми днями прислушиваюсь к своему внутреннему голосу, и у меня созревает решение изменить свою жизнь.

Но насчет Леонида я малость ошибся. Он не забыл пригласить на свадьбу своего друга, но по каким-то особым соображениям это дело взяла на себя сама Пчелка.

Она приходит и проникновенно говорит:

— Вы, наверное, в обиде на меня?

— Да как сказать... — замялся я.

— Я понимаю, Саша, но ведь сердцу не прикажешь... Мы останемся просто хорошими друзьями. Я и Леонид очень просим вас быть у нас на свадьбе.

— Да, мы останемся с вами, Наташа, хорошими друзьями, — с чувством, от всего сердца говорю я. — На свадьбу я приду, пожелаю вам счастья, но не надеюсь быть веселым. Не от чего веселиться. Да и вообще, по-дружески, откровенно говоря, всюду, где находитесь вы, Наташа, не будет покоя в душе моей. Поэтому я решил пока уехать отсюда. Я пойду учиться в сельскохозяйственный институт. Леонид поймет меня и поможет...

— Конечно, поможет, — говорит Пчелка. — Это хорошо, поезжай. И мне, пожалуй, будет легче, а то я чувствую себя какой-то все виноватой. И будь твердым, Саша, учись усердно. Помни всегда, что свет на мне клином не сошелся, есть у нас девушки много лучше. Так, приходи... Присим. Отпразднуем свадьбу, а потом честь-честью проводим тебя учиться и сохраним друг о друге светлую память.

Свадьба Леонида и Пчелки была веселой и многолюдной. Я пришел на свадьбу поздно. Наташа кивнула мне светловолосой головкой. Помнится, что она была особенно хороша в этот вечер.

Я поздравил новобрачных, пожелал им счастья и взял чарку. Леонид и Пчелка встали, чокнулись со мной. Встал и чокнулся Фома Сергеич. Я выпил чарку до дна.

— Спасибо, — сказал Леонид.

— Благодарю, — сказала Пчелка.

— Скоро, чай, и на твоей свадьбе погуляем, — сказал отец Леонида.

— Возможно, Фома Сергеич, когда-нибудь и погуляем. Где-то есть девушка...

И вскоре незаметно ушел.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОСИПА ПЕТРОВИЧА

Осип Петрович, опираясь на палку, с трудом поднялся на пригорок и остановился. Родные поля, речка, долина с раскидистыми старыми ветлами у бочажков лежали перед глазами. Тут прошли сорок пять лет его жизни, отсюда он уходил три года назад биться с фашистами. Он не знал ни одного такого дня своей солдатской жизни, чтобы не вставали в памяти эти места, знакомые, как лицо самого родного человека.

По обеим сторонам речки находились три деревни, объединившиеся без малого пятнадцать лет назад в одну артель, в которой Осип Петрович работал до ухода на фронт. Две мельницы-ветрянки вздымались над деревнями и, как бы стараясь перегнать одна другую, легко и задорно размахивали крыльями. В полях виднелись пахари; они поднимали землю под зябь. Шумела за деревней молотилка, ей вторил трактор. Все это придавало местности хозяйственное оживление, уют хорошо обжитого угла. Осип Петрович подтянул вещевой мешок и скорым шагом двинулся к дому.

Через час он сидел в своей избе за столом, закусывал, пил чай. Пришел сосед старик Егор Петухов, поздоровался, поглядел на бледного, усталого, постаревшего Осипа Петровича и покачал головой:

— Эх, видать, и досталось тебе, Петрович!

— Победа, дядя Егор, легко не дается. А я при том же только что из госпиталя.

Прибежал тринадцатилетний сын — румяный, запыхавшийся, скинул пальтишко, шапку, пригладил пятерней волосы, подошел к отцу и вдруг смутился под его ласковым взглядом. Потом порывисто приник к нему и поцеловал в щетинистую щеку. Отец крепко его обнял и спросил:

— Работал, что ли?

— Пахал.

— Работный парень он у тебя, — заметил старик Петухов. — Немного помене моего за труды получит.

— А ты, Егор Коныч, все попрежнему трудишься? — спросил Осип Петрович.

— Поддерживаю. Ночью на стороже, а днем силу еще имею по дереву заниматься: лопаты делаю, грабли, черенки, а тут еще две ковые телеги сработал.

— Тебе сколько теперь годков-то?

— Не скажу. Со счету сбился. Как-то легче, когда о годах своих не думаешь. Одно слово — стар, но сила еще есть. Без тебя здесь мы дело не опустили, нет! Подвинулись

дальше — урожаи хорошие снимали, государству много помогали, постройки возводили. Вожак на наше счастье попался толковый, дело хорошо ведет.

— А кто теперь председателем-то? — заинтересовался Осип Петрович.

— Катерина Михайловна.

— Здешняя или присланная?

— Здешняя! Михайлу-то Чижова, наверно, помнишь, который садовый журнал выписывал, сливу к яблоне прививал?

— Я тебе понятнее скажу, — вмешалась жена Осипа Петровича. — Катю, ту красивую девушку, за которой наш Евгений ухаживал, помнишь?

Осип Петрович хотел сказать: — «знаю, знаю, как не знать», но что-то сдавило горло, и он сделал только неопределенное движение рукой. Сын Евгений, танкист, пал в жарком бою. До последнего дня он вел переписку с отцом — фронтовиком. Потом письма перестали от него приходить. Отец запросил командование части, в которой служил его сын, и получил ответ. Самые близкие друзья Евгения описали все обстоятельства его геройской смерти.

Осип Петрович овладел собой и строго сказал жене, заметив на ее глазах слезы.

— Ну, полно, полно, мать.

— Сын-то какой был! — сквозь слезы воскликнула мать. — Пойдут, бывало, с Катериной, все любят на них. Я все так говорила: наша Катя... Какая бы сноха-то была — всем на радость.

— Что говорить, — согласился старик Петухов, — Михайло Чижев смысленый был мужик и дети, видно, в него способные. Сын стал врачом, а дочь вот председателем колхоза. Комсомолка, еще молоденькая девушка, а ведет такой большой колхоз толково, смело, на отличку. Сейчас вот с полей все убрали, государству все сдали, хлеб домолачиваем, картошку докапываем, да зябь поднимаем. Да-а! И собой девушка хороша и умна. Умеет быстро смекнуть, твердо решить.

— Народ у нас вообще способный, а эта семья как бы особенная, — согласился с дедом Осип Петрович. — Сейчас тебе такую историю расскажу, что ты ахнешь. Я тяжело был ранен: в позвоночный столб, с лечением долго ничего не выходило. Потом от медицинского персонала и от раненых узнал, что есть замечательный молодой хирург Чижев, и многих он после таких ранений, как у меня, спас. Я вспомнил, что сын нашего Михайлы Чижова врачом стал. «Но этот ли, думаю, Чижев». Попросил написать ему, и он вско-

рости перевел меня в свой госпиталь. Просветил лучами, выслушал меня и решил операцию делать. А я пластом лежал, ноги у меня отнялись.

— «Ладно, — говорит, — Осип Петрович, постараюсь поставить тебя на ноги, все силы приложу».

Сделал он операцию и месяца два потом ухаживал за мной, как родной сын. Ноги мои стали ходить. Вот какой врач, какой человек! Любили там все его.

К вечеру Осип Петрович вышел в поле.

Вдали виднелся лес. Он полукругом огибал поля и был похож на огромную, расписанную золотом, зеленью, багрянцем дугу. С поля тянулись подводы. На телегах стояли зеленые ивовые корзинки, наполненные картошкой. К вечеру холодало. Ядреный воздух папахивал дымком. На картофельном поле ребята жгли теплинку и пекли картофель. Глядя на них, Осип Петрович вспомнил погибшего сына: «Так же вот он бегал маленьким по полям, а когда подрос, пахал, бороновал, работал на тракторе». Он раздумался, загрустил и не заметил, как к нему подошла Катерина Михайловна.

— С приездом, — сказала она, приветливо улыбаясь, — с возвращением.

Вся какая-то собранная, аккуратная, она была одета просто, буднично, но тщательно. На ногах легкие хромовые сапожки, на голове фетровая шляпка, суконный пиджак ловко облегал талию.

Они поговорили о хозяйстве, о жизни. Потом председательница спросила о здоровье, и Осип Петрович обстоятельно рассказал об операции и лечении у врача Чикова.

— Брат писал мне, — выслушав Осипа Петровича, проговорила девушка: — он велит мне подобрать вам дело легкое, не требующее больших усилий. Я думала. Мне хочется расширить птичник. Куры у нас есть, кур у нас много. Надо еще гусей развести. Пусть наши колхозники спят на подушках — и тепло, и мягко. Здание птичника мы выстроим новое, кормов у нас хватит. Беритесь, Осип Петрович, дело интересное и легкое. Но в это дело, впрочем, как и во всякое другое, надо вжиться, полюбить его. Вы понимаете? — она смотрела ему прямо в глаза, как бы стараясь заглянуть в душу. — Отдохните, подумайте, а потом опять поговорим.

Осип Петрович подумал, посоветовался со своей семьей и через несколько дней сказал Катерине Михайловне о своем согласии.

Через неделю поздно вечером к нему зашел старик Петухов:

— Сегодня на Волгу ездил, — важно заговорил он. — Катерину Михайловну в птичий совхоз «Утес» возил. Она брала она тебе там самых высокородных гусей и книжку про них достала.

«Это, — говорит, — будет Осипу Петровичу полное руководство по уходу за ними».

* * *

Осип Петрович сидел в комнате при новом птичнике, топил печку, варил корм для кур и гусей. За печкой койка покрытая лоскутным одеялом. На столике—книжка, банка махоркой. На стене берданка для стрельбы по лисам и ястребам.

Открылась дверь, и в комнату вошла Катерина Михайловна — веселая, румяная, разговорчивая.

— Вот, где тепло-то, — заговорила она, присела у печки и погрела руки. — Холода пошли, зима настаёт, ну, у нас приходу ее, кажется, все готово. — Потом она прошла к столу, села, взяла в руку книжку, полистала.

— Привыкаешь ли, Осип Петрович?

— Привык. Умная птица — этот гусь. Дисциплинированная. У нее свои порядки есть...

Около печки приятно было посидеть. Они разговорились. Катерина Михайловна вспомнила, как жил колхоз во время войны; Осип Петрович рассказал о боях, в которых ему пришлось участвовать. Ему давно хотелось напомнить Катерине Михайловне о своем погибшем сыне, и он заговорил значительно, протяжно:

— Вот, Катерина Михайловна, война кончилась. Люди вновь принялись устраивать свое счастье. И вы свое счастье устройте. У вас будет хороший муж, Катерина Михайловна родится веселый, здоровый сын — и тут просьба моя будет: назовите его в память одного геройского танкиста Евгением!

Катерина Михайловна молчала. Осип Петрович ждал ответа. Она вздрогнула, как будто хотела что-то сказать, но ничего не сказала. Осип Петрович вопрошающе посмотрел на нее и не узнал деловую, энергичную Катерину Михайловну. Перед ним сидела Катя, нежная, милая, страдающая девушка.

Она смотрела в оконце взглядом, затуманенным слезами и молчала. Потом тихо поднялась, взглянула на Осипа Петровича, хотела что-то сказать, но не смогла и быстро вышла. Осип Петрович пошевелил в печке, походил туда-сюда.

аметил, что книжки нет, и поспешно вышел на волю. Катя стояла за дверью, прислонившись к стене, и плечи ее вздрагивали от беззвучных рыданий.

— Катя, книжка-то.. — тихо произнес Осип Петрович, — та книжка мне постоянно требуется.

Катя, не оборачиваясь, протянула ему книжку. Он взял ее торопливо ушел. Заглянул в печку, в котел, пометался по комнате и выглянул на волю: Кати у стены не было. Она тихо-тихо брела к деревне.

* * *

Вечером забрел на огонек старик Егор Петухов. Он любуясь навесить тихого, рассудительного Осипа Петровича, пошел в его теплой, чистой избе.

— Люба ли тебе новая работа? — спросил старик.

— Ничего... По душе...

— Птицы-то не обижают тебя?

— Насмешник ты, дедушка, — улыбнулся Осип Петрович. — Где им... Я теперь хорошо окреп — так и побегу. А сегодня у меня особенный день был: председательница ко мне заходила узнать, как я привыкаю к новому делу.

— Забо-о-о-тливая, — восхищенно протянул дед, — ты ей должен спасибо сказать за её попеченье...

— Что ж, я благодарен ей, — задумчиво молвил Осип Петрович, — хорошая она, чуткая, добрая, но не в ней главная причина... Артель, колхозный строй надо благодарить! При единоличной жизни мне пришлось бы по миру ходить... В единоличке одному приходилось делать все: и пахать, и убивать, и молотить, и подымать, и возить тяжести, а это мне не по силам. В колхозе же есть профессии, здесь можно использовать человека счетоводом, бригадиром, сторожем... Возьми пример с себя. Ты стар, работать поручу с молодежью и здоровыми не можешь, но в артели ты полезный человек: и конюх, и кучер...

— Верно, — подтвердил дед, — я стар, я очень стар, таких стариков называют безгодовыми, многое уже мне не по плечу, а на своем посту конюха я делу соответствую, меня ценят, благодарят и даже премии преподносят.

— Так вот теперь ты видишь, кого нам с тобой надо благодарить, — заключил Осип Петрович.

ХОЗЯИН

— Хозяин, — громко сказала мать, входя в избу, — долго спишь, вставай — пора!.. Я уж с покоса пришла.

— Так мы ведь вчера до полночи сено возили, — проговорил спросонья сын, протирая глаза.

— Вставай, вставай, да отправляй ребят кого куда надо, а я пока завтрак приготовлю.

Хозяин встал, потянулся, потом неожиданно кинулся головой вниз, взбрыкнул вверх ногами и на руках пошел по избе.

— Ду-у-ду-ду-у, — громко дудел он, подражая гудку автомобиля, шествуя вдоль избы на руках.

Братишки и сестренки, спавшие заподряд в чистом переднем углу, проснулись от этого пронзительного гудения.

Увидев старшего брата, идущего к ним вниз головой, дети поняли, что это означает: автомобиль перевернулся вверх колесами и ему немедленно нужно оказать помощь. Они вскочили, свалили брата на пол, потом принялись ставить на колеса — на ноги.

Началась толкотня, смех.

— По-людски разбудить-то ведь не мог, — укоризненно сказала мать, — вверх ногами, да возню затеял. Ах, Денька, Денька... Хозяин тоже называешься.

— Так ведь это же спорт... физкультурой уж нельзя заниматься!

— Занимайся, хватит тебе физкультуры-то, вон горох на гряде ветром свалило, а ты и не видишь.

— Все маленький был, а тут вдруг на целый метр вскинулся, а я и не заметил когда...

— Надо замечать, глядеть за делом-то. Хороший хозяин давно бы...

— А вот сейчас горячего в себя подолью и сделаю... Уже больно это недолго, дела-то на рыблю ногу, — говорил Денис, свертывая постели и убирая их на полати.

— Одеваться! —скомандовал он братишкам и сестренкам. — Милька, ты сейчас же веди Андрея в детский сад, а то он дома на еду навалится, а там завтракать не будет. Вернешься домой, поешь и пойдешь сено ворошить.

— Анька, ты на рыхление свеклы опять пойдешь.

— Без тебя знаю.

— Знаешь, так и хорошо, а огрызаться на старших нельзя. Чему вас только в семилетке учат.

Он определил каждому свое дело и остановил ласковый взгляд на смирном кудрявом семилетнем брате:

— А тебя, Сергей, мне уж придется отпустить за грибами. Побегай там за ригой в перелесочке. Грибков что-то охота. Только смотри не заблудись, далеко не заходи.

— Садитесь завтракать, да и пойдете все по делам, — сказала мать, ставя на стол хлеб, квас и мятую картошку с молоком.

Денис наскоро позавтракал, запил квасом и вышел на двор. На самом деле — надо подпереть сладкий горох на гряде, а то загниет... Все дела, недосуг, дождался того, что мать указала, давно бы надо самому догадаться.

Он взял топор и пошел на огород. В борозде между грядами заметил двух куриц и так шугнул их, что они с отчаянным кудахтаньем перелетели через изгородь, откуда только уменье летать взялось. — Вот окаянные! Изгородь сделал, кажется, такую, что даже цыпленок не пролезет, а они как-то пробираются.

Заострил с десятков колышков, стал их втыкать в гряды и поправлять жирную, двухметровую ботву, и тут как раз появился Тимка Чешуин, дружок до гроба... Загорелое лицо сияет, глаза бегают, как мыши в клетке, в руках рогатка, карманы штанов оттопырились...

— Около конюшни кро-о-олики, — сказал Тимка на ухо приятелю и таинственно подмигнул, — дядя Федя сейчас с кучи свежего клевера спугнул. Пойдем скорее.

— Сейчас, только доделаю...

— Брось, а то они ускачут невесть куда, ищи потом. Оставь все, никто тут не возьмет, бежим скорее.

В душе Дениса вспыхивает страсть охотника, он бросается на двор за рогаткой, но ее на месте нет, волнуется, бранит брата:

— Это Сережка, наверно, куда-нибудь запропастил, везде сует этого тихого дьяволенка.

— Де-е-е-нис, бежим скорее! — умоляет Тимка, — давай без рогатки!

— Ты стрелять станешь, а я любоваться буду или подгонять их к тебе. Ишь ты какой умный...

Наконец рогатка найдена, надо еще собрать камешков.

— Бери моих, — предлагает Тимка и повертывается к другу боком, — выгружай весь карман, мне еще другой полный останется.

Они впритруску бегут за конюшню, где по определению Тимки должны сейчас находиться кролики, и по дороге торопливо рассуждают:

— Это, наверно, одичали те, которых дядя Иван Крайний выпустил, когда на фронт пошел. Положил всех в сennую корзину и высыпал в клевера. Я сам видел, когда он корзину нес. Куда это, гляжу, Иван Крайний пошел, — выдумывает Дениска.

— Нет; это бабки Марфы кролики разбежались, когда она в больнице лежала.

— А я говорю тебе, что Ивана Крайнего!

— А я говорю: бабки Марфы!

— Они все белые с красными глазами, значит, ивановы.

— Нет, больше дымчатые... бабкины...

— Толкуй вот чудачу, что седелка на боку, а он едет да хохочет.

— Да их всяких тьма-тьмущая развелась, — уступает Тимка.

Они ищут за конюшней в траве, ищут на свекольном участке — кроликов нигде нет.

— Наснилось тебе, наверно, — говорит Дениска другу.

— Пойдем спросим дядю Федю, ежели думаешь, что лгу. Они теперь одичали, как зайцы, разве их скоро найдешь.

Мальчишки идут в клевера, но, оказывается, их уже скосили. Экую палестинищу смахнули. Видно сегодня утром все косилки и все косари здесь работали.

Девушки сейчас тут ходят, разбивают для просушки толстые пласты клевера.

— Не видать ли тут кроликов? — спрашивают мальчишки, скрывая за спиной рогатки.

— Каких вам кроликов?

— Сами-то вы кролики.

Вот и поговори с ними... Тоже люди... Обидно. Ведь спросили их вежливо, а они ни с того, ни с сего: «вы кролики».

— Ребята, ребята, что вы тут разгуливаетесь? — слышится позади чей-то знакомый голос.

Обернулись — бригадир тетя Саша.

— Идите запрягайте быков — сено возить надо.

— Рано еще, не высохло, поди...

— Нет; пора-пора, запрягайте сей минутой. Около сараев лучше развалим и досушим, а то не управимся и до полуночи.

Что ж, запрягать — так запрягать, ехать — так ехать, дело знакомое.

Дружки прячут рогатки под рубашонки, заправленные в штаны, и послушно отправляются запрягать.

Ираида Небова, мать Дениса, веселая, раскрасневшаяся, ходит по селу.

— Ты что? Муж приехал, а ты разгуливаешься? — спрашивают ее.

— Мой горох по всему колхозу раскатился — хожу, собираю. Отец требует немедленно всех представить ему. Мильку нашла, Андрейку из сада принесла, Капка сам прибежал, теперь только Анну, Деньку да Серегу бы известить.

Мать встретила Дениса у сарая, когда он ехал с поля со вторым возом.

Она любила пошутить:

— Поди, Деня, домой, сдавай дела.

Мальчик недоуменно посмотрел на мать.

— Какие дела?

— Хозяйские. Ты же дома за хозяина был.

Сын все еще не понимал ее.

— Так, а теперь что?

— Теперь другой хозяин будет, настоящий. Александра Васильевна! Замени моего, — попросила она. — У нас отец с войны пришел, требует сына сейчас же домой.

И вот Денис, не дожидаясь матери, пустился к дому. Бежит, думает и никак не придумает, как заговорить с отцом, что сказать ему. Все слова кажутся или неподходящими, или незначительными. «Лучше пусть так — он будет спрашивать, а я отвечать», — решил он и ринулся в избу.

Отец сидел в переднем углу с председателем колхоза. Прослышав о возвращении воина, который был до войны одним из лучших работников в артели, он зашел повидаться с ним. Они разговаривали о колхозных делах. Увидев сына, отец прервал разговор, поспешно поднялся и вышел из-за стола. Они встретились посередине избы. Отец приподнял его, крепко поцеловал и опустил на пол. При этом рука отца наткнулась на рогатку, забытую под рубашкой. Сын выхватил ее из-за пазухи и схоронил за спиной.

— Что это у тебя? — спросил отец.

— Да так...

— Покажи! Рогатка?!

Сын покраснел до ушей.

— Я сейчас ее изломаю.

Он хотел сломать ее о колено, но отец остановил его.

— Не надо. Пригодится. Ты играй себе на досуге. Тебе еще надо играть, только осторожней, не залепи куда не следует...

Руки отца все еще ощущали вес мальчика.

Какой тяжелый, крепкий, будто молотами сбит. Густые волосы выцвели на солнце, торчат вихрами.

— Фуражка-то есть ли у тебя?

— Есть, да не знаю где, все лето не надевал.

Отец погладил по волосам, прихватил их пятерней:

— Давно не стригся?

— То и дело стригусь, да больно скоро отрастают.

Кисти рук большие не по возрасту, ладони мозолистые, заскорузлые. Ступни ног тоже большие.

«Да-а, этот парнишка вот этими большими руками заработал прошлый год, как писала мать, триста трудодней, — подумал отец, — и на самом деле кое в каких делах был дома за хозяина. Без него матери хуже бы пришлось».

— Когда я поехал, тебе было десять лет!

— Десятый, а теперь четырнадцатый идет.

— Большой, славный парень вырос, — проговорил председатель. — Весь в отца. Каждое дело так и горит в руках. А ну пока! Отдыхай, солдат, да и за дело... Впереди самая большая у нас работа — уборка.

Председатель ушел. Отец с сыном помолчали.

— А Сережа что-то долго не идет, — прервал молчание отец.

— Я его отпустил за грибами, в лесу где его найдешь. Скоро сам придет.

— За грибами? — переспросил отец. — Я грибов четыре года не едал, кажется забыл даже, как они пахнут.

Денис пристально посмотрел на отца: поседел, глаза глубже ушли в глазницы, на лице появилось много морщин. «Воевать нелегко», — вспомнились ему слова из отцовских писем, — «в земле живу и под землей уже был, один раз землей засыпало так, что еле откопали».

— Мать говорит, что ты за хозяина был. Пойдем, покажи, как хозяйствовал, — в раздумье слышит он ласковый голос бати.

Они вышли на двор. Хозяйский глаз отца сразу заметил, что подгнило, покосилось и требует починки, но отец ничего не сказал сыну, чего еще требовать от такого хозяина!

Мальчик показал пальцем на тесовую крышу двора.

— Тут во время дождей вода лилась, так я две новые доски приколотил, теперь не течет. У решетки, — показал он на коровий хлев, — один стояк подгнил, так я под него камень подложил.

— Ишь как догадался, молодец! — похвалил отец.

Вышли на улицу.

— Дров тут недавно привезли, так я их переколол, что-
ы сохли.

— Правильно. Но сложить надо клеткой, тогда они ско-
рее просохнут.

Пошли дальше, свернули в огород.

Денис вспомнил, что у него там валяются топор, колыш-
ки, и остановился.

— Что ты встал? — спросил отец.

— Да там, еще ничего не поспело.

— Посмотрим — хорошо ли растет.

Делать нечего, надо итти.

Отец сразу заметил и разбросанные колышки и топор.

— Это что у тебя тут?

— Я сегодня хотел колышков в горох навтыкать, да ме-
ня позвали...

Денис вспомнил сегодняшнюю охоту и осекся.

Отец живо поправил горох, воткнул колышки, взял на ру-
ку топор, осмотрел все грядки.

— Вот Сережу ты, кажется, зря за грибами послал, —
обеспокоенно заговорил он, — мал еще, убредет куда ни-
будь.

— Он у нас грибник... Он в перелесочке за ригой ходит.
Дальше ему не велено, — старался успокоить отца Денис.

И вдруг решил:

— Да я сейчас за ним сбегаю.

И он пустился в перелесок.

С крыльца окликнула его мать:

— Что, хозяин, сдал дела?

— Сдал, — понимая шутку, усмехнулся сын. — Сейчас
вот надо только Серегу из леса справиться, и все будет в по-
рядке, можно за стол садиться.

Денис побежал гумнами за деревню. Навстречу задушев-
ный дружок Тима Чешуин. Он идет домой обедать. Ему, ко-
нечно, по-приятельски интересно знать, как Денис встретил-
ся с отцом, и он говорит:

— Что он тебя спрашивал?

— Картуз, говорит, почему не носишь? Поднял на руки и
шашел у меня за пазухой рогатку... Я думал, изломает, нет—
обратно отдал. Потом пошел все осматривать, заглянул на
огород, а там у меня колышки разбросаны, топор валяется...
Мать меня давеча здорово подвел, намолол про кроликов, я
все и бросил...

— Бранил он тебя?

— А за что ж меня бранить? Я правильно жил. Предсе-
датель у нас был... Так он отцу похвалил меня, а слово
председателя — великое дело...

К ним подходил Сережа, с полной корзиной грибов.
А вот и братуха, — обрадовался Денис. — Иди скорее — папа приехал, на тебя поглядеть хочет, чай пить будем.

Денис взял из рук маленького Сережи тяжелую корзину с грибами, и братья вприпуску пустились домой.

ИВАН ИЗ ИВАНОВА

Небольшой, сухощавый, верткий Иван Орешкин иногда шел, казалось бы, на верную смерть, и его бесстрашие удивляло даже испытанных солдат.

— А что ж! — задумчиво объяснял он, — у меня ни жены, ни детей, после меня сирот не останется, мать старушка только поплачет.

В горячем деле иногда вражеский огонь прижимал наших бойцов к земле.

— Товарищ сержант, я сейчас этих фрицев успокою, — говорил Орешкин, отползая в сторону, и пропадал. Через некое время в амбразуры вражеского блиндажа, который мешал продвижению, летели гранаты. Это значит: Орешкин добрался и «успокаивает» немцев. Тут бойцы поднимались и шли вперед.

Друзья оживлялись, становились веселее, когда среди них появлялся худенький, юркий и всегда чем-то озабоченный Орешкин с мешком за спиной.

— Сражаешься ты мастеровито, — говорил ему лейтенант, — но боюешь, что пришьют тебя, и я лишусь лучшего бойца. Мешок твой как-нибудь подведет тебя. Зачем ты его таскаешь?

— А куда мне девать его, товарищ лейтенант?

— Разгрузить надо.

— Не могу, товарищ лейтенант.

— Что же тут у тебя такое?

— Сокровенное, товарищ лейтенант.

— Вот как! Странно...

Бойцы прозвали мешок Орешкина тайником.

— Чего стыдимся, того и таимся, — рассуждали старики солдаты, полагая, что тут у него что-нибудь особенное. И что ни таить, а будет говорить.

В бою за одно село Орешкин проявил особенную ярость и увертливость. Из одного подвала наши бойцы выгнав гранатами пятерых немецких автоматчиков. Выбравшись та

м ходом из подвала, немцы скрылись за каменным домом открыли оттуда плотный огонь.

Пробравшись огородами в тыл, Орешкин скосил этих ицев из автомата. Село вскоре было очищено от немцев. При преследования отступающего противника ввели другую роту, а подразделению, в котором служил Орешкин, дали передышку. Произшла трогательная встреча освобожденных жителей с красноармейцами. Женщины плакали от радости, звали к себе, чтобы угостить чем-нибудь бойцов.

В избу приветливой Прасковьи Горленко Иван Орешкин вошел последним. Перед тем как придти сюда, он несколько раз обошел вокруг дома, заглянул в садик. Бойцы обрадовались Орешкину, почувствовалось общее оживление.

— Сколько вас сгрудилось тут — ни пройти, ни повернуться. В других хатах много просторнее.

— Так а ты почему в тесную пришел?

— Мне здесь отдыхать полагается, — многозначительно ответил Орешкин. — Разрешите я среди вас вежливенько покурю наведу! Ты, Сорокин, подвинься в угол! Мокросеев, выведи сюда ноги протяни! Ты, Вахунбабаев, прислонись к стене. Так, хорошо, получается без пяти минут комфорт. Ты, Ракидзе, подвигайся в угол, с тобой рядом поместится Орешкин.

В хате стало просторнее. Себя Орешкин не обидел — выбрал лучшее местечко. Удобно устроившись, он «вежливенько» заговорил:

— Хозяюшка, разрешите к вам обратиться.

— Обращайтесь...

— В саду... на огороде у вас амбар стоял, а сейчас я вижу что-то не замечаю.

— Не замечаете потому, что немцы его сожгли, — сказала Прасковья.

— «Во саду ли, в огороде девица гуляла», — вставил ехидливый Мокросеев.

— Погоди смеяться, будет и девица, — остановил его Орешкин и продолжал...

— И яблони тут стояли, был вроде как сад, а теперь я вижу его.

— Спилили и сожгли, оттого ты и не видишь его, — сказала хозяйка. — Зимой им, вишь, все холодно было.

— Вот я оттого и запутался: попрежнему-то можно бы его назвать, а по теперешнему виду только огоро...

Хозяйка пристально посмотрела на Орешкина:

— Нешто вы когда-нибудь бывали у нас?

— Думается мне, дорогая хозяйюшка, — что бывал. Из-за этого непременно в вашу избу и отдохнуть пришел.

Он развязал свой мешок, вытащил из него кусок бело-красной материи и поднялся с пола.

Разговоры среди бойцов стихли: тайник Орешкина открылся, предстает перед глазами всех его сокровенное. Что же это, интересно, такое? Затаив дыхание, боевые товарищи Орешкина следили за каждым его движением.

Он быстро вскинул вверх руку с белым жгутом — и вниз вдруг хлынул поток цветов и застыл в воздухе.

— Узнаете ли, хозяйюшка, это художество? — спросил торжествующе Орешкин. Прасковья всплеснула руками.

— Батюшки! Наше рукоделье. — Полотенце было отличное вышито крупными цветами и листьями.

Орешкин вплотную подошел к Прасковье:

— С благодарностью, хозяйюшка, возвращаю вам.

Она пристально вглядывалась в лицо Ивана.

— Неужто ты тот служивый, который два дня на огороде от немцев скрывался?

— В амбаре у вас лежал в сорок первом, — напомнил Орешкин, — я тот самый красноармеец и есть. Ваша дочь перевязала мне рану этим полотенцем. Потом, когда выбрался, когда в госпиталь попал, так просил сохранить и выстирать мне его.

Хозяйка проговорила сердечно:

— Вы его оставьте себе и утирайтесь в походе на доброе здоровьице.

— Нет, — решительно сказал Орешкин, — я должен вернуть его по принадлежности. Утираться у меня казенно имеется.

Орешкин легким движением вскинул полотенце хозяйки на плечо.

— Художество беречь надо, это, по правде сказать, и рушник, а картина. Вы его сами, хозяйюшка, вышивали?

— Нет, это Марийка работала, замечательная она мастерица.

— Да, да, это сразу заметно. Осмелюсь спросить, хозяйюшка, если это не секрет, где находится ваша Марийка? Это очень важно, поскольку она спасла мне жизнь.

— Марийку со всей нашей сельской молодежью немцы отправили в Германию на работу, но слышно по-народу, что она по дороге убежала от них.

Хозяйка по укorenившейся при немцах привычке оглянулась по сторонам, подумала и сказала:

— Теперь фрицев здесь нет и не будет, так и открыти

можно. К партизанам моя Марийка подалась. Она ловкая, и верю я, что она не пропадет.

— Верите?

— Верю!

— И я тогда, хозяйюшка, буду верить, — как-то значительно проговорил Орешкин и вернулся на свое место.

Бойцы поели и улеглись спать.

— Вот что, друг, произошло тогда «во саду ли, в огороде», — шептал перед сном Орешкин своему соседу по месту на ночлеге — Мокросееву. — И девица, стало быть, тут была. Да какая, брат, девушка! Красивая, разумная, проворная. Руку мне перевязала рушником, пиджак с плеч брата дала: будешь, говорит, в нем неприметнее для немцев, в случае чего выдашь себя за местного парня. Ночью проводила за село, показала дорогу к нашим. Запала она мне с тех пор в душу на веки вечные.

Пошептавшись всласть, друзья уснули. Утром Орешкин проснулся первым. Его разбудил радостный вскрик хозяйки и ласковый певучий говорок девушки. Он открыл глаза и вскочил на ноги. Его резкое движение разбудило чутких к тревоге товарищей. У порога стояла высокая, загорелая, в фуфайке, ватных штанах и тяжелых сапогах девушка. Бойцы подобрали ноги, потеснились. Она прошла в передний угол, порывисто обняла мать, и обе они от радости заплакали.

После занятия этой местности Красной Армией партизанский отряд вернулся в село. С ним пришла домой и Марийка.

Орешкин сидел на полу и глядел на нее, как зачарованный, потом, выбрав удобную минуту, оправил на себе обмундировку, встал, приосанился и спросил:

— Узнаете ли меня?

Она глянула на него: обычное армейское лицо, щуплая, малоприметная фигурка. За годы войны она перевидала таких людей тысячи. Она пожала плечами и вопросительно посмотрела на мать.

Орешкин нагнулся, вытащил из мешка какой-то сверток, перетянутый веревочкой, развязал, развернул и поднял за ворот поношенный пиджак из серого меланжевого сукна.

— А это вы узнаете?

— Иван из Иванова! — обрадованно воскликнула девушка. Орешкина бросило в жар: помнит, узнала.

— С благодарностью возвращаю, пиджачок сослужил мне большую службу: согрел и делал неприметным.

— Сохранил? — удивилась девушка. — Вот аккуратный! Мама, ты видишь, какой он аккуратный.

— И вышитое полотенце ведь принес, — откликнулась мать.

— Столько времени все это хранить, носить с собой! Вот это я понимаю. Скажи, Иван, у вас в Иванове все такие аккуратные?

— За всех ручаться не могу, но вообще-то народ очень обстоятельный. А за себя скажу, что в этом не столь аккуратность, сколь приятность носить с собой хоть что-нибудь из ваших рук.

Солдаты переглянулись: как ведь ловко намекнул, она, вишь, зарумянилась даже. Девушка бойко заговорила с ним: как он тогда выбрался из окружения, где лечился, где сражался потом.

Орешкин живо и обстоятельно все ей рассказал...

Отдых кончился. Пришел сержант, приказал выходить и строиться. Вышли, построились.

Марийка видела в окно, как Иван из Иванова занял свое место в ряду, послушно вытянулся при команде «смирно», четко выкрикнул свой номер... Ей стало жалко этого небольшого, бойкого, умного солдата. Жизнь просто, но и чудесно столкнула их дважды. Сведет ли в третий раз? Она вспомнила, как боялась за него, когда он скрывался от немцев на огороде, и почувствовала, что сегодняшняя встреча обрадовала ее, и человек из Иванова стал чем-то дорог ей. Вот сейчас по команде «шагом марш» он двинется туда, где гремят бои, и она больше никогда не увидит его.

Марийка вдруг сорвалась с места и бесшумно вышла. Через минуту она появилась на улице и требовательно позвала:

— Иван, на минутку!..

— Товарищ лейтенант, разрешите на минутку выйти из строя!

— Выйди и скорее догоняй нас.

— Иван, неужели у вас в городе все такие невнимательные, — с упреком сказала девушка, когда Орешкин подбежал к ней. — Ушел и ничего не сказал, не простился.

Орешкин тряхнул головой и с отчаянием сказал:

— Э-эх! Если уж мне по-настоящему прощаться, так надо всю душу вывернуть! Я уйду, а сердце мое с тобой остается, Марийка. Запала ты мне в душу еще с тех давнишних двух дней и запала, видно, навеки... Мне в бой идти... Награди ты меня поцелуем — я лучше от смерти сохранюсь.

Он обнял ее, поцеловал и побегал вслед за ротой, придерживая рукой саперную лопатку.

Он бежал и оглядывался. Марийка все еще стояла на улице.

Он бежал, не чуя земли под ногами, и все оглядывался. Уж очень ему было радостно видеть, как она приветно помахивает рукой, лишь только он оглянется назад.

* * *

К дому Прасковьи Горленко подошел небольшой, сухощавый, но бравый и веселый солдат. Обе стороны его груди были украшены орденами и медалями. Он некоторое время потоптался около избы и вдруг решительно и сильно постучал в окно. Из дома тут же вышла Марийка, как будто она сидела у двери.

— Ждала? — обрадованно спросил Иван.

— Ждала, — призналась Марийка.

— Значит дождалась, — осмелев, мужественно заключил Иван, — а я иду и думаю: «Либо пан, либо пропал, либо я счастливый человек, либо холостяк до кончины своей».

— А ведь ты, Иван, наверно женатый? — Марийка испытующе посмотрела на него.

— Не-ет! Клянусь своей солдатской кровью!

Марийка тепло, ласково провела рукой по его засеребрившемуся виску и лукаво спросила:

— Неужели, Иван, у вас в городе все так долго не женятся?

— Кто поздно полюбит, тот поздно и женится. Я вот как раз к ним и отношусь. Правда, бывало мне нравились некоторые девушки, но огня в сердце не было, а на этот раз вся душа запылала. Вот и зашел я, чтобы в мирное житье-бытье итти с тобой. Не только жизни, но и фамилии давай соединим: Орешкин-Горленко!.. Орешкина-Горленко!..

Он вслушался в звучание этих слов, потрянул по привычке решительно головой и сказал:

— Хорошо! А на это ты не смотри, — он показал на висок. — Это война. Сколько я пережил, сколько всего перенес, одно слово — повоевал.

— Что ж это, — спохватилась Марийка, — мы еще в дом не вошли, а ты уж все сказал. Вот какой ты быстрый... Неужели у вас там все такие скорые?

— Не знаю, — усмехнулся Орешкин, проходя вслед за Марийкой в избу, — очень возможно, что я один чудной такой.

В пригородном селе возвращение Ивана Орешкина вызвало оживленные толки.

— Медалей у него не сосчитаешь. Надо же столько заслужить!

— На войне там где-то жену себе подыскал. Долго не женился... Думали — всю жизнь холостяком проходит...

— Я видела жену-то: чернобровая, хорошая собой... Ростом высокая — почти на целую голову его выше. Марьей зовут, а он все ее: Марийка, Марийка...

Первые дни по приезде Иван Орешкин-Горленко отдыхал, гулял с молодой женой по селу, по окрестностям.

— Вот у нас как хорошо, — говорил он. — Здесь село, поля, леса и рядом Иваново. Хочешь в колхозе работай, хочешь на фабрике. Я, конечно, на фабрике буду, как и до войны. На ситцепечатной машине раклистом. Как пушу машину, так отпечатанный ситец вверх несется в сушилку, а по нему цветы и цветочки, будто вихрь из цветов.

Марийка смотрела в сторону города: линии электропередач, рабочие поселки, дальше многоэтажные дома и фабрики, фабрики одна за другой и дымные высокие трубы над ними.

— А это еще какой город в поле стоит?

— Это самая здесь огромная фабрика, — называется Меланжевый комбинат.

— А это — серый, высоченный дом вроде замка.

— Выходная база... Со всех фабрик ситец в нее поступает, а она вагонами и целыми поездами отправляет во все края.

— А это что построено из стекла?

— Новенькая фабрика под названием «Красная Талка».

Ветер донес до их слуха протяжный гудок. Иван так весь и засиял:

— Слышишь, слышишь? Гудок! Это нашей фабрики гудок! Ее отсюда не видно, она в низинке... Называется Большая Ивановская... Четыре года здесь не бывал, а гудок своей фабрики за три километра отличаю.

И. Дружинин

ИЗ КНИГИ „ВЕЛИКИЕ БУДНИ“

I. УТРО НОВОГО ГОРОДА

Ворвется в окна ветер хлесткий,
Крылом ударит по воде.
Знакомым запахом извести
И звоном пил начнется день.
С рассвета мечутся машины,
Гудит упрямо паровоз,
Уходит в горы из долины
Толпа испуганных берез.
Еще кварталы оцепила
Лесов и кранов бахрома,
Не сбросив на землю стропила,
То тут, то там встают дома.
Лучами на куски распорот
Туман холодный и седой,
И вот шумит нарядный город,
Насквозь пропахнувший смолой.
И в этой стройке, звоне, гуде,
Где ни пройди — увидишь ты
Его грядущих светлых буден
Неповторимые черты.

II. САПЕР

Влюбленный в солнце, всюду строил он
Красивые и солнечные зданья.
Я видел их и был всегда пленен
Окаменевшей музыкой колонн,
Где вдохновенны линий зданья.
Когда со звоном падало стекло
И дом горел, разрушенный снарядом,
Ему горячей болью сердце жгло,

Как будто друг от пули падал рядом.
Шел бой за город.

К вечеру с трудом
Окраина была атакой взята,
Но на пути преградою встал дом,
С любовью им построенный когда-то.
Хлестал свинец из окон и дверей,
Была земля разрыта и разбита,
А он пополз вперед, среди камней
С очередным зарядом мелинита.
Чтоб снова строить светлые дворцы,
Соединил он провода запала.
По грудам щебня, дерева, металла
Ворвались в город русские бойцы.
...Тот день припомня, медленно шел он,
Приветствуя военных по привычке.
(Шинель — уже неделю без погон,
И спороты саперские петлички).
Но он сапер.

Саперам впереди
Положено идти законом боя.
А бой не кончен. Вот оно, гляди,
Пожарище, одно, за ним другое.
Родные незабвенные места.
Крапива на развалинах густа,
Но здесь, где только черный ворон каркал,
Здесь шумный город завтра должен
встать,
Охваченный зеленой лентой парков,
И новый дом, чудеснее в стократ,
До неба вознесется этажами.
Всю ночь не спал в гостинице солдат,
Всю ночь не спал сапер над чертежами.

III. СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Я видел его с автоматом,
Когда по команде с брони
В атаку по травам прямым
Он шел сквозь ночные огни.
Такой вот запомнится сразу:
В стремительном смелом броске,
Высокий,
 прямой,
 сероглазый,

С прилипшим листком на виске.
Шрапнелью кустарник косило,
Сжигало траву на корню,
Но юности дерзкая сила
В бою не подвластна огню.
Ворвался в траншею.
И грудью

Вперед.

Автоматом — с плеча.
А после у взятых орудий
Пил светлую воду ключа.
...Идут облака ниже сосен,
Стволы не охватишь вдвоем.
Узорен, красив и морозен
Сибирской зари окаем.
Но холод гвардейцам в привычку.
На склоне горбатой горы
С утра заведут переключку,
На солнце блестя, топоры.
И первым идет по делянке,
Солдатский печатая шаг,
Высокий, в армейской ушанке,
С искрою задорной в глазах.
Обветрены твердые губы,
Движенья быстры и легки,
И я узнаю лесоруба
По хватке,

по взмаху руки.
Мохнатые падают ели,
В сугробы врезаясь плечом.
Ребята снимают шинели —
Им даже мороз нипочем.
И кажется — снова атака,
Азарт,

наступленья порыв.
...На склоне до самого мрака
Задорно стучат топоры.

IV. ДОРОГА

Дубы столетние из мрака,
Как великаны, вышли в круг.
И над палаткой бивуака
Стволы качают на ветру.
Сгорают срубленные ветки

В голодном пламени костра.
Вот здесь — на картах пятилетки
Легла большая магистраль.
Она прорвется через горы,
Через дремучую тайгу,
И приведет в портовый город
Там, за хребтом, на берегу.
Но бивуачная поляна
От скал прибрежных далека.
Соленый ветер океана
Не долетит наверняка.
Бурян сквозь чащи вековые
Уходит в черный бурелом,
Услыша, как стучит впервые
О звонкий камень тяжкий лом.
Гвардеец, видевший Карпаты,
Сказал приглушенным баском:
«Работы будет многовато,
Так что ж! На то мы и солдаты —
Везде прошли. И здесь пройдем.
По топору скучают руки!
А ну, начнем, давай приказ!»
День загорался в дружном стуке,
Под пенье пил веселых гас.
И поздней ночью, у базальта,
Строители мечтали все,
Что скоро здесь блеснет асфальтом
В огнях широкое шоссе.
И резким запахом бензина
Окутав дикие кусты,
Легко промчатся лимузины
На покоренные хребты.
И там, где со скалою вровень
Туч пробегает караван,
Шофер машину остановит
И вниз покажет: «океан».
Сверкнет залив, качнутся шлюпки,
Пройдет трамвай на берегу.
Мы вспомним первые зарубки
И непокорную тайгу,
Как лом стучал о камень серый,
Деревья падали в росе,
И как мечтали пионеры
О быстрых эмках на шоссе.

М. Кочнев

СЕРЕБРЯНАЯ ПРЯЖА

На одной фабрике нашей, будто бы у Грачева, такая историйка в старое время приключилась. Хозяин фабрики больно скопидомен был. Карман толстой имел, а одевался вроде конторщика; когда же на фабрику приходил, так и хуже того: все хотелось показать рабочим, что он-де божья сирота, последние штаны протер, в белой конторе сидючи.

Разве что в гостишки к кому соберется, ну тогда приоденется получше. Сидит за столом, пьет, ест, а сам все больше на одежду свою глядит, как бы не облить, не вывакать, папирской суконные брюки не прожечь.

Отец у него когда-то горшечником был, миткаль доской набивал, на Кокуе с лотка базарил. С лотка у них всё и зачалось. Ну, а сын воротилой стал.

Отец ему и рассказал, что когда-то у ткачей, в старое время, была серебряная нитка. Ну, раз серебряная, то и дорогая. Да затеряли люди эту нитку, ищут уж сколько лет, найти не могут. Объявится счастливчик, нападет на след, завладеет этой ниткой — озолотится. Хозяин-то спал и видел эту нитку. С детства о ней мечтал, плешь на голове блином обозначилась, а он все еще надеется. Слышал он также, что секрет этой нитки хранится у какой-то белой зверюшки, нето у горностайки, нето еще у какой.

Вот раз задержался он на фабрике. Ночная смена работу кончала. Знать хозяин утром не на ту ногу встал, весь день ходил по фабрике злой, на народ не глядел, все у него дураки да лентяи нерадивые. К кому ни подойдет, посмотрит на сделанное, только и скажет:

— Работать как следует не хотите, метлой вас гнать с фабрики, дармоедов!

Ткачихи, которые с нормой справились, домой собираются, платки завязывают, пыль с себя метелкой обивают.

Глядит хозяин на сотканное, у одной кусок возьмет, у другой повертит, со всех сторон смотрит; и на свет и язык

пробует — ищет, к чему бы придраться, как бы лишний пятак сбросить или под штраф подвести. Хозяева на эти штуки мастера были.

И как на грех повернулась ему под руку ткачиха Авдеевна. На плохом она станке ткала, на допотопном. Баба была прилежная, любила свое дело. Всю жизнь на одной фабрике проработала. В чем-то не угодила хозяину, и поставил он ее за старый станок. Давно бы пора новый завести, хозяин и сам понимал это, да на новый-то надо денежки, а денежек жалко. Потому решил, что Авдеевна и на старом станке должна соткать сколько ей положено. А что касается сил, здоровьишка Авдеевны, об этом хозяину заботы мало.

Все кончили, а у Авдеевны и половины не сделано. И сотканному она не радовалась, сама видит — не миткаль, а рогожу снимает. Мастера позвала, а мастер поглядел на станок и пошел прочь: с ним, говорит, неделю нужно возиться, чтоб наладить. Инда слезы прошибли Авдеевну.

— Провались ты, — говорит, — проклятый станок, вместе с этой фабрикой и хозяином-скрягой...

А хозяин-то как раз и стоит за ее спиной... И так это по-лисьему выглядывает:

— Кому это, сударка, провалиться-то? Мне что ли?

Авдеевна была на слова не горазда, в оправдание-то не нашла что ответить. Будь она половчее на слова, да поострее на язык, — так и вывернулась бы. Заплакала Авдеевна в голос и давай скорее нитку прелую связывать. Хозяин посмотрел на сделанное и заявляет:

— Это за целую смену только и наткала? За что же я тебя хлебом кормлю? Ты уж лучше не ходи на фабрику...

Сказал, словно в ледяную воду бабу с головой окунул. Легко подумать: не ходи на фабрику! Не пошла бы, да зубы на полку не положишь, а дома-то ребятни куст. Всех их одень, обуи, плохо ли, хорошо ли — накорми.

Торопится Авдеевна, нитки связывает, а нитки прелые, не успеет одну связать, другая оборвется. То челнок застрянет, то основа спутается. Словом не работа, а сущее наказание. И не стерпела Авдеевна, первый раз в жизни осмелилась в глаза сказать хозяину:

— Новый бы станок надо. А этот в Уводь выбросить... Я бы на новом-то горы за смену соткала, а тут одна надсада...

Не понравились хозяину слова Авдеевны:

— Ты, — говорит, — баба, глупа. И как ты осмелилась учить меня? Когда ты будешь хозяйновать, а я ткать, тогда

может, тебя и послушаю, а пока ты мне не указ. Домой я тебя не отпущу, пока норму не сделаешь... Хоть умри, а сотки. Не соткешь — утром расчет дам... А то, что соткала, — не приму, в брак пуцу да за такую работу еще с тебя взыщу: не порти хозяйских товаров.

— Как же я хорошо сотку, — всплакалась баба, — станок-то никудышный, основа гнилая, утók не лучше, да и свету нет...

Хозяин осердился:

— Пряжа гнилая? Когда она сгнить успела? Пока ты соткала? Если так расторопно ткать будешь, — и верно пряжа сгниет. Смотри основа какая. Натянута. Слушать мило-любо, каждая ниточка словно серебряная позванивает... Тки давай...

Опять ему серебряные нитки припомнились.

Пошел он прочь, а Авдеевна проворчала сквозь слезы:

— Знаю твое серебро... Ты на серебряной нитке скорей раздавишься, чем ее купишь... По дешевке у шуйских гнилой пряжи накупил, ткать из нее заставляешь, а народу продаешь товар за хороший, привык людей охмурять.

Товарки Авдеевны смену кончили, домой пошли, осталась она одна. Света белого баба не видит. Ткет, станок обихаживает: и челнок осмотрит, и берда очистит, а дело не спорится. Из гнилой-то пряжи да на плохом станке канибраса не соткешь. Плюнула Авдеевна с досады, отошла к подоконнику, сама с собой разговаривает:

— Лучше побираться итти, чем за этим разбитым корытом маяться.

А в цеху никого нет. Только слышно, как хозяин в отдельной кричит, видно отбельщик в чем-то проштрафился, не угодил. Да и то: угодить на живого хозяина трудно было.

Задремала Авдеевна с устатку. Долго ли, коротко ли она дремала — и не помнит. Почудилось ей, как станок стукнул, очнулась, глядит — в основе горностайка снует взад-перед, торопливо так бегаёт, вроде механического челнока. Необычная горностайка: волос на ней чистым серебром переливается, и говорит она прямо-таки настоящим чевечьим голосом:

— Ты не горюй, Авдеевна, сейчас мы хозяину из золота, серебра холстов наткем, а за сотканное все, что принашивается, сполна возьмем.

Встала на задние лапы и давай с себя пушок сдирать: кребнет коготками по брюшку, — волосы серебряные как и сыплотся. Серебряным пухом всю ткань покрыла.

Потом быстренько в каждую нитку по серебряному волосу заплела. И сразу вся основа серебром заиграла, и такие ли стали прочные нитки — ножом не перережешь... Зазвенели струнами, заиграли.

— Теперь пускай станок! — приказала Авдеевне, а сама в норку юркнула.

Авдеевна пустила станок. Пошло дело, как по маслу. Основа не рвется, не путается, станок работает на диво, лучше нового. За полчаса урок закончила. Только она кусок снимать стала, сам хозяин из отбельной катится. У него глаза на лоб полезли:

— Как ты смогла из такой пряжи соткать? — спрашивает. — Эта же ткань дороже всякой термаламы, а с равендуком и в сравнение не идет... Да я ее заморским купцам продам... Какой доход получу... Ты, Авдеевна, искусница. У тебя, видно, та самая серебряная нить хранится, кою давно затеряли наши люди. Где ты ее нашла? Отдай мне ее или продай, только никому не говори об этом, дорого заплачу тебе. Не отдашь, — каждый день послеурочно работать заставлю.

— Ничего я тебе не продам, — отвечает Авдеевна, — никакой у меня серебряной нити нет, никаких секретов не знаю, с чего такая ткань получилась, я и сама не разберусь, не пойму. Может с того, что я нонче много над этой пряжей поплакала, от слез моих и засеребрились нитки.

— Ну, тогда плачь больше. Это мне выгодно... А уж я постараюсь, чтобы ты побольше плакала. Ступай поспи, скоро гудок засвистит, опять на смену итти надо.

Проводил он Авдеевну, сгреб серебряную ткань в охапку, к себе в контору поволок. Дверь на ключ запер, окна занавесил, боится: кто бы не подглядел. Раскинул на столе ткань, глазам не верит. А кусок так и сияет.

Обрадовался хозяин, стоит, ладоши потирает, прикидывает, сколько прибыли возьмет за такой отрез, сам думает: вот бы все ткали так же. А может и станут так ткать, если всех за плохие станки поставить, побольше на них кричать, штрафами донимать, чтобы над утком плакали. Тогда и у других пряжа серебряной станет.

Это он сам с собой беседует, слова Авдеевны вспоминает.

Налюбовался, наплясался хозяин около серебряного куска, запер его в железный шкаф, где касса хранилась, ключ себе на ремень повесил и опять в ткацкую пошел, прямо к станку Авдеевны. Изрядно он его поковырял, под станок зачем-то полез, видимо какой-то важный винтик хотел по-

вредить. Глянул он на пол — под станок Авдеевны, а там тонкий серебряный волосок светится... Что за притча. Обомлел хозяин и про винтик забыл. Прихватил ногтями серебряный волосок — глядит, а это настоящая серебряная нитка, не рвется, не путается.

Выскочил хозяин из-под станка, как слепнем ужаленный, и ну нитку наматывать в моток на руку. А нитке конца нет, тянется она по всему цеху, все станки опоясаны. Хозяин рад: ему бы побольше захватить. Наматывает он, торопится, как жетса ему, что время быстро идет, скоро петухи запоют, светать начнет.

Бегал, бегал он вприпрыжку вокруг станков, семь потов с него сошло, а нитка все не кончается. Обежал последний станок, глядит: нитка под дверь уходит. Он за ниткой. Нитка по фабричному двору под ворота тянется. Он туда. А нитка и здесь не кончается. Вдоль по улице легла, по снегу серебряный волосок так явственно при лунном свете выделяется.

Бежит хозяин по улице, волком озирается, хватает нитку, навивает, путает, боится, кто бы не перехватил — сторож ночной, а то какой-нибудь запоздалый ткач, что из кабачка возвращается.

Нитка меж тем протянулась в переулке, а из переулка в поле поползла. Хозяин за ней, не отстает. Так в одной жилетке и чешет, ему и мороз нипочем, и на морозе с него пот льет. Жадность-то вот что с человеком делает!

Выбежал из села, радуется — ночь, в поле он один, нечего бояться. Опоясался мотками, с плеч до ног серебряный стал.

Далеко от своей фабрики убежал. Уж и Иванова-то давно не видно. Немножко очухался, обернулся назад — одна только труба фабричная видна. Оборвать бы нитку следовало, да и домой вернуться, пожалуй дело-то лучше бы было. Но хозяин по-другому рассудил: захотелось ему до конца дойти, до клубка самого, весь клубок заграбастать. Набрать бы — думает — этого волоса столько, что бы по гроб хватило, да еще сыновьям и внукам осталось.

Своей пряжей да тканью такой, как Авдеевна ткет, я всех ивановских фабрикантов и купчишек прочих забью. Выше всех буду. Не дам никому на ярманках показываться, их тряпье после моих деликатных холстов никто и не возьмет. Придется еще железный шкаф заводить, деньги хранить.

Он уж подсчитал — сколько на первый год выручит, сколько на второй. Словом далеко вперед человек заглянул.

Снег под луной битым стеклом поблескивает, глаза слепит, а серебряный волос еще пуше переливается, словно по тонкой трубочке голубоватая водица струится.

Добежал хозяин до леса. Это от Иванова верст пятнадцать будет, а то и с лишечком. Нитка в лес протянулась, хозяин не отстаёт, дальше следует, по пазушки в сугробах вязнет, ползком ползет, а знай вперед стремится.

Зима в том году установилась задиристая, ветристая ворошливая.

В лесу ночью немудрено закружиться, особливо, когда человек чем увлечется, по сторонам не смотрит, не замечает, какими местами идет. Ну, пока охотился хозяин за ниткой, в такую чащобу залез, где и волк не хаживал. Следы натоптаны вокруг да около, словно по кругу кого гоняли, а серебряный волос вьется по этой чащобе, вокруг пней, вокруг елок, по можжевельным кустам, и, кажется, его никогда не размотаешь.

Струхнул немного хозяин, понял, что в ловушку попал.

Посидел на пне, а сам все пышными серебряными мотками любуется. Только тем себя и утешает.

— Ладно, до утра здесь посижу, а на рассвете из чащобы выберусь. Холодно вато, зато сколько добраца хапнул и все дарма.

Передохнул малость и опять принялся с кустов пряжу сматывать. Глядит, а теперь уж вместо одной нитки двенадцать нитей в ряд появилось. Ну, еще лучше. Он сразу все двенадцать нитей стал разматывать, в мотки свивает, в копны складывает, а сам думает:

— Вот так счастье, вот так капитал!

А в голове у него мутиться стало... Вроде как бы с ума начал сворачивать. Самому ему об этом и невдомек.

Бросил он последний моток на двенадцатую копну, глядит: на кустах ни единой ниточки не светится. Зато в середине чащобы, словно из-под земли, вырос огромный дуб, и весь серебром горит.

Хозяин метнулся к нему. Смотрит, а дуб этот весь плотно серебряным волосом обмотан, и так искусно, ряд к ряду, словно его машина обрабатывала. Увит он от самого тонкого сучочка до корня. А корень толщиной в три обхвата. Как увидел его хозяин, так и голова кругом пошла. Подбежал к дубу, обнял его и закричал на весь лес:

— Чур не вместе. Мой дуб, я его первым нашел. Никому не дам!

Приказчика бы позвать и поставить к дубу, да пока судная изба документ на этот дуб не выпишет, уйти из лесу боязно: не перехватил бы кто находку. Набредут лесник или охотник, не уступят.

Вдруг налетел ветер, лес зашумел, затрещал, снег посыпался, луна пропала... Темно в лесу стало. И началась завихруха-метель, во все щазобы залетала, так снегом и бросает, глаза засыпает. Ей и дела нет до того, что хозяин в одной жилетке в лес заявился.

Еще плотнее прижимается хозяин к дубу, и от этого ему будто теплее становится. Засыпать стал.

А по дубу горностайка бегаёт. Сядет на сучок, двумя лапками волос серебряный наматывает и куда-то в гущу те клубочки кидает.

Хозяин это как сквозь сон видит. И еще снится ему, что в Макарьеве ткань Авдеевны продает прибыльно.

Солнце взошло, метель утихла, в щазобе около дуба двенадцать сугробов наметено выше человеческого роста, а около — стоит хозяин, прижавшись к дереву, и из сугроба одна его маковка плешивая торчит. Замерз он.

Весной пастухи на него набрели, собрали кости, поклади в гроб, привезли, похоронили, на кресте золотые буквы написали:

«Раб божий, купец второй гильдии».

А когда наследники железный шкаф открыли, куда он дороговую материцу спрятал, — никакой там серебряной ткани не нашли: лежит камень — булыжник, на полпуда, и больше ничего.

Наследники все голову ломали: как же это камень попал в денежный шкаф.

— Должно быть отец с ума рехнулся перед смертью. Через то и в лес ушел.

Про длинный-то волос они так и не прослышали.

А у Авдеевны — с горностайкиной ли помощи, с чего ли другого — дело в гору пошло. Ровно силы да уменья прибыло. Уж такие канифасы ткала — и плотно, и красиво, как шелка кашемировские. И много: соседки кусок снимут, а у нее два готово.

Хоть и на старости, а узнала Авдеевна радость.

МИТ КАЛЕВАЯ МЕТЕЛЬ

Теперь миткали отбеливают по-новому — скоро и хорошо. А старики помнят, как летом отбеливали на лугах по всей Уводи, а больше у Золотого потока. Зимой, когда снег коркой покроется, все поля закатывали, лисице пробежать негде.

Хозяева раздавали товар по деревням. Там отбелят, а потом уж на фабриках в расцветку пускают.

Жил в ту пору в слободе неподалеку от фабрики пронырливый мужичишка — Никиткой его звали. Подрядами он промышленял. Головка маленькая, глаза плутоватые, бегают, как у мыши, руки чуть не до земли.

И мужики, и бабенки, и ребятя миткаль для фабрик настили. Работали по пятаку с куска, не больно это денежно, ну да где же дороже-то найдешь?

Никитка однажды тоже за миткалем пошел. К вечеру на его счастье мороз ударил. Разостлал Никитка миткаль, по концам положил поленца да кирпичики, воткнул колышки на заметку. А то и ветром унесет и прозевать можно, — свои шалят, скатают. Так останешься в накладе, что потом за пять зим не вернешь.

Вышел Никитка на огород, мороз похваливает. А наст колом не пробьешь, как по полу, по нему иди, похрустывает под лаптями.

Все убрали миткали, а Никита решил на ночь их оставить. Думает: «Раньше срока сниму и другую партию раскину.» Так с огорода он и не уходил. Пробеет его мороз, сбегает Никита в избу, пошлепает ладонями по горячей печке и опять на стужу. Петухи пропели, все в селе заснуло, только сторож где-то далеко в колотушку брякает. Луна выплыла полная, все кругом осветила. На снегу точно битое стекло рассыпано, снег серебром горит.

Сидит Никитка у гумна в соломе, на миткали поглядывает, пяточки подсчитывает. Вдруг слышит, где-то рядом похрустывает, будто кто к миткалям подбирается.

Высунулся Никитка из соломы, видит — человек над миткалями ходит, вроде шагами длину их меряет.

— Постой, — думает Никитка, — что дальше будет?

А сам колышек дубовый в руке сжимает: может понадобится.

Зоркий был Никитка: ночью нитку в иглу мог вдеть. И тут видит — человек чужой, таких в слободе нет. А, главное, вот что дивно: с пят до маковки человек белый, как снегом осыпанный: шапка белая — заячья, шуба белая —

заячья, онучи белые — холщевые и лапти белые. В руке подонок. Ходит старик по миткалям, щеткой с них как бы снег смахивает, а брать ничего не берет. Посматривает Никитка — понять не может, что этому старику пришло ночью чужие миткали обхаживать. Нет, думает, хитрит старик, хозяина выслеживает. А как увидит, что хозяин заснул, и примется скатывать.

Старик обошел все миткали, снял с крайней ленты поленце, приподнял конец и хотел нето сказать, нето перевернуть. Как раз Никитка из соломы вылез да с колышком к старику:

— Постой, дедка, ты тут что ищешь?

Старик не испугался, ленту положил, а поленце на старое место подвинул.

— Я так, ничего, мил-человек, на миткали любуюсь. Больно гожи, тонки, чисты. Твои, что ли?

— Хозяйские, настить взял, по пяточку с куска, — объясняет Никитка.

— Так, так, хороший ситец набьют из этакой бели. Дай те бог удачи, работы прибыльной. А я шел по полю, далеконько увидел, что-де за тропы постланы. Ан вон что. Ну я своей метелкой обмахнул, авось белее станут.

Хитрый старик оказался. Такой курносый, борода по пояс, рукавицы по локти. Тоже белые. И беленькую метелку под локтем прижал. Указывает он Никитке: глянь на миткали, такие ли (были они в сумерки)?

Никита пригляделся — и впрямь не узнать: снега белые, а миткали вдвое белей.

— Что это, дедушка? — спрашивает Никитка.

— Удача. Ночь тебе счастливая выпала. Морозец хороший бедному человеку помог. Больше и студиться нечего, скатывай, а то передержишь: слабнуть начнут, лицо потеряют.

Никитка и сам видит, что за какой-нибудь час миткали дошли: хозяин за первый сорт примет.

Но вот с чего так получилось, Никитка не раскусит. А старик полезный, выгодно бы и дружбу с ним завести, в пай взять. Тогда только успевай миткали раскатывать. Никитка старика в избу зовет погреться с мороза, сулит самовар поставить. А старик отнекивается, ссылается, что ему далеко идти до дома, спешит он — нужно во что бы то ни стало к сроку поспеть. И обещает после побывать, если дорога в эти края выпадет.

Никитка принялся выспрашивать старика — как зовут, откуда он, куда и зачем идет. Старик не больно-то рас-

сказывает. Отвечает на все какими-то титлами, так что все-го Никитка и понять не мог:

— Зовусь я по-человечески, а в миру по-разному кличут, кто как назовет. Живу на земле, на той, что и ты, полгода сплю, полгода работаю. По своим делам всеми дорогами хаживаю. Где человеку след — там и мне не запрет. Где человеку запрет — для меня все равно след. А сейчас по важному делу в один край иду. У меня сын с дочерью повздорили. Мирить их иду. Кого наказать, кого опечалить. Один другого попрекает, за глаза не разберешься. А я правду умею находить хоть как запутай. Хочу, мил-человек, память по себе оставить, чтобы ты добрым словом старика помянул. Возьми мою метелку, она мне покуда не нужна. А когда потребуется, — зайду, возьму. Даю и навовсе и не навовсе, смотря по делам, как она тебе пригодится. Ты свои миткали ночью смахивай так же, дело поскорее пойдет. Но береги метелку, в чужие руки не отдавай, потеряешь — такую-то и сам не свяжешь и в лавке не купишь.

Отдал старик метелку Никитке, шапчонку надвинул, утер нос голицей да и пошагал напрямки к болоту. Только наст под ногой похрустывает.

Долго Никитка вслед ему глядел.

Миткали он скатал, метелку на плечо и — бегом в избу.

Утром повалил на санки мешки с бельем, повез сдавать. Как раскинул он перед хозяином первые куски, так и забил всех.

Много народу пришло сдавать, у тех бел миткаль, а у Никиты белей — шелком отливает. Народ дивуется, а Никитка от радости кулаки потирает, но помалкивает, как это так получилось, что миткали за одну ночь отбелены. Хозяин никиткин товар за образец всем показывает, в носы тычет, вот, мол, как работать следует. И опять настить посылает. А бабы косятся на Никитку, брюзжат.

— Принесли его черти со своим миткалем.

Никитка земли под собой не чувствует, раздадорился, спрашивает у хозяина:

— Почем с куска им платишь?

— Сколько и тебе — по пятаку.

Никитка решил всем ножку подставить.

— А я у тебя все подряды сниму по четыре копейки с куска. Не давай больше никому ни аршина. Пусть кто хочет, из моих рук получает, а уж я-то их научу.

Хозяин рад: дешевле и лучше. С того часа перестал он в разные руки миткали раздавать. Никитка на весь миткаль подряд откупил и мужикам в слободке объявил:

— Кто желает настить, приходите за миткалями ко мне в сарай. Плачу по три копейки с куска.

Делать нечего, хозяин работы не дает, до других фабрик далеко. Поскребли мужики в затылках и пришли к Никитке, ведь всю зиму не будешь сидеть сложа руки.

А Никитка на свою метелку понадеялся.

Дело у него колобком покатилося, без заминки, без задоринки. Каждые сутки воз отбеленного миткаля отправлял хозяину.

Завел Никитка такие порядки: с утра миткали раскатают, а в сумерки собирать их не велит и приглядывать не просит, сам за ночного сторожа остается. Все спят, а он возле села похаживает, миткали проверяет, своей метелкой обмахивает.

Зима словно по заказу установилась — тихая, днем солнышко, а ночью мороз. Все на руку Никитке. Стал он по слободке гоголем ходить, перед стариками шапки не ломает, шарабан себе заказал и на фабрику ездит.

Скоро еще сбавил цену и заставил всех за две копейки с куска гнуться.

Бабы подступили было к Никитке:

— Не по закону делаешь...

Просили они свое, а Никитка не больно дорожил ими:

— Если вам это дешево, я чужесельских найду. Только гукни — бегом прибегут.

Однако стали люди за ним подглядывать, что это он ночью делает: не просто миткали так белы. Видят — он метелкой по миткалям машет, а к чему это — не поймут. Одни говорят — иней обметает, другие ладят — зельем каким-то кропит.

Пробовали допытаться:

— Что это у тебя, Никитка, за метелка такая, чем ты ее мажешь?

А Никитка в ответ:

— Такая метелка: кто спрашивает — по языкам бить, кто доглядывает — по глазам.

Выпала одна ночь — особенно лунная да морозная. После вторых петухов присел Никитка в солому, глядь — опять тот старик, в белом, словно из-под земли выскочил, сбросил поленце, миткаль скатывает. Скатал один кусок, за другой принялся. Никитка к нему:

— Здорово, дедка!

— Здравствуй, мил-человек!

— Помирил сына с дочерью?

А старик и отвечает:

— День с ночью не помиришь.

— А теперь далече отправился?

— Кривду в поле ловлю, напал на след и иду за ней. Так-то толкует, а сам третий кусок скатывает.

Никитка забеспокоился:

— Пошто ты их в одно место складываешь?

— Хочу взять у тебя, мил-человек, кусков пяток. По-ди, не откажешь? Придется — расплачусь, а ныне ни се-митки в кармане.

Никитка думает: то ли зайдет старик, то ли нет, а мит-каль жалко. И говорит:

— Дал бы, дедушка, да ярлыки на каждый кусок выпи-саны. Как же я отчитываться буду?

— Ах, ярлыки, ну тогда не надо.

Старик больше ни слова не молвил, ушел.

Утром Никитка повез бель хозяину. И тут же у фабри-кантов новые подряды взял на будущий год. Закупил пря-жи, роздал по избам ткать. А настала зима, стал свои мит-кали настить. Мужиков с бабами подрядил. И все попреж-нему ему удается: за сутки миткаль отлеживается.

Однажды ночью бродит он, как колдун, по гуменник м, наст похваливает, погоде подходящей радуется, на разо-сланные миткали поглядывает.

И видит: идет старик с метелкой. Одежда на нем об-шарпанная, лохмотья по ветру вьются. Признал Никитка старика: тот самый. Поздоровались.

— Чьи миткали, мил-человек? — спрашивает старик.

— Мои, — басовито так, важно отвечает Никитка.

— Ну и хорошо, что твои. Теперь не откажешь ста-рику — дашь на одежонку?

Никитка и кумекает:

— На что он мне, старый хрыч, сдался? Много их та-ких по белу свету слоняется.

— Дал бы, — говорит, — миткаля, да вся партия чохом купцу Березкину запродала.

И посмеивается:

— На другой год приходи.

— До другого года я, может, и не проскриплю.

Старик хмурится. Спрашивает Никитку:

— Ну, а ты тут как?

— Да помаленьку, тружусь. Все тебя добрым словом по-минаю. За метелку спасибо.

— Она мне ноне понадобилась.

Никитка и нос повесил:

— Нет ли другой такой?

Старик в ответ:

— Одна она на всей земле.

Взял старик метелку под локоть и пошел к лесу.

Ушел он, а Никитка о миткалях думает — померкнут теперь или нет? Может лучше было бы кусок али два дать?

А миткали светятся, пожалуй, еще явственней, будто вдвое белизны им прибавилось.

И решил Никитка, что метелка не причем, а все дело в погоде.

Только вдруг на улице тихо стало так, что слышно, как мыши в соломе похрустывают. Небо чистое, ситцевое, и звезды горошком рассыпаны. А вокруг луны — красный пояс. — К ведру луна подпоясалась красным кушаком, — смекает Никитка. — Метели не будет.

И подался в избу прикурнуть. Лампу погасил, да так, одетый, за столом и ткнулся носом в ладони — пригрелся, вздремнул с морозу.

Поспал он немного, проснулся, слышит, вроде кто стучится. А это горбыль о стену бьет. В трубе ветер заливаётся. Глянул на улицу — хвиль завил, света белого не видно. Ветер так и посвистывает, снежной крупой в стекла сыплет. У Никитки сразу сердце упало — миткали не скатаны, теперь не найдешь их, сугробами заметет. Как полумный, выскочил Никитка, а ветер дышать не дает, наземь валит, за два шага ничего не различишь. Где кувыркком, где ползком дополз Никитка до гуменников, торопится убраться миткали. Кричит:

— Люди добрые, помогите!

А народ спит, как Никитка велел.

Только схватится Никитка за ленту, ветер завьет, вырвет ее из рук, покатит полем. Никитка — за ней, а ветер пуше — другие ленты завил и крутит столбом. И не поймешь — то ли миткаль крутится, то ли снег вьется. Со всех гуменников миткали в воздух подняло, в воронки завивает и гонит нивесьть куда. И земля и небо все в снежном море потонуло. Где село, где лес — не разберешь.

Ползет Никитка по сугробам, и вдруг его подхватило и с миткалями вместе потащило. Снег в лицо хлещет, ветер шапчонку сорвал, а миткали вокруг трубкой, трубкой свиваются, будто змеи над головой тянутся. Заплетается в них Никитка, спотыкается, опамятоваться не может, остановить хвиль такую не в силах, бросает его, как пушинку, по сугробам. Из сил выбился, а отстать от миткалей не хочет.

И видит Никитка: посреди поля стоит тот самый старичок в белой шубе да своей метелкой над головой помахвает. Куда махнет — в ту сторону вихрь несется. А сам приговаривает:

— Миткаля белить, не в гостях гостить. Белитесь скорей, белитесь белей.

— Дедка, дедка, останови! — кричит Никитка.

А дедка только шибче метелкой машет.

Так и закружило Никитку. Снегом его запорошило.

И никто его добрым словом не помянул.

БЕРЕЗОВЫЙ ХОЗЯИН

Другой про старинку-то и не больно охоч слушать. Мол, все это было да сплыло, а теперича жизнь на другой манер повернута, иной краской крашена.

Так-то оно так. Только и про старое забывать не след.

Та нитка, милок, эва с каких пор тянется. Можя за сто лет, а можя и поболе. Тогда, сказывают, все в нашей местности под рукой у барина Шереметева жили. И хозяева тоже. С каждой души оброк он требовал. С кого холстами, с кого миткалями. Ни мужику, ни бабе отлички не давал.

Только хозяева-то скоро откупились, вольность стребовали. Мало того, самого барина в долги впутали. Она, ни точка, — одним пальцы до крови режет, в других серебром брезжит. Ну, а у кого в кармане пусто, тот маялся. Зима и лето для такого все одним цветом. Рад бы вечером выйти соловушку послушать, на травке поваляться — да время в обрез.

За фабриками у нас с одной стороны — топь да болотинки, осинка да черный куст. И комарики есть — не без комара в нашем краю. Пока тепло да сыро, стон над ухом стоит. По лугам — речка, ну такая — курица перешагнет. А дале — сёла.

С другой стороны до самых мщерских болот, до самой Клязьмы — что поля, что луга ровненьки, хоть яички в светлый праздник катать. А леса-то какие были — на сотни верст, по самое студеное море. Старики помнят, вон на Покровской горе — сосны в три обхвата росли.

Зимой, бывало, припугнет лисица зайчишку, так он те с перепугу, случалось, через жудое окно прямо в ткацкую залетывал. Волк с медведем под каждым кустом лежали. Лоси к мытилкам на питье хаживали. Птицы всякой, гриба, ягоды, ну, необеримо было, возами вози. А черники — в лес войдешь — ровно черный дождь ударил, ступить негде.

Деревья какие росли — вековые, поди земле ровесники. И все сортами. Уж коли елка с сосенкой, так они по-родному длинным ремнем и тянутся. Береза пойдет, так тоже на подбор, одна к одной, белизны ослепительной, на кожуре ни мертвинки, что летом, что зимой стоят белоногие, ровно чулки на них натянуты...

По тракту на Паршинский базар прежде вдоль дороги всё березняк да березняк. Редко, где осинка сбочку притулилась, горьким своим листочком шумит и шумит, березнячку нивесть на что жалуется.

Береза росла на целые версты. При луне кора серебром горит, переливается. Особливо зимой в заморозок. В лес войдешь, как в терем. Бывало, наши хозяева повезут свои тряпки в Паршу, или с базара ворочаются, едут ночью, лошадей по своей воле пустят, а сами все любят. Куда ни глянь — чистое серебро рассыпано.

Обочь дороги сейчас растет береза: на первый взгляд дерево деревом. Ну, приглядишься, ан не то. В рост она человеческий, два грибка черненьких березовых прилипли, как брови, а под ними такой узор, будто глаза закрытые, и так все приметки человека обозначались. Сказывали: в какую-то ночь те глаза открывались, и береза говорила по-человечески. На выручку звала. Вот тут-то держись за вожжи, хватайся за скобы. Лошади в запряге бесились, несли напропалую. И весь лес стонал да трещал. А к утру стихнет. И опять береза стоит, не шелохнется. Ну, правда, бровки и весь там человеческий облик завсегда был на ней различим.

Пытались то дерево рушить. Да ни один топор, ни одна пила его не брали. Топором тянут, — ровно о камень: искра дуром сыплется, лезвие крошится. Пилить примутся, на дюймочку подрежут — пилы как не бывало. Так и отступились. Думают: пропади ты пропадом.

Не сама та береза оборотнем выросла. Встарину-то, бают, мастера такие водились, что заколдуют и расколдуют. Врут ли, нет ли, можа и выдумали.

Как из березового клина выедешь, черный куст пойдет. Так вот там на горке когда-то большое село Дунилово стояло. Народ землю мало пахал. В ткацкое ремесло ударились, у ивановских подряды брали и у своих давальцев работали.

Жили в этом селе два мужика. Одного Герасимом звали, другого Петром. Неказисто жили, у каждого по три стана в избе. Герасим роста маленького, бороденка реденькая — в два пальца, а Петр — мужичище, что твой медведь,

борода кольцами, рыжие глаза на выкате, уши круглые, как грибы.

Избы у них одним гнездом стояли, крыльцо в крыльцо. Бывало надоест ткать, устанут, один к другому покурить идут. И базарить вместе ездили. Двоим в дороге веселей, да в случае и обороняться легче.

Раз и поехали Герасим с Петром на Звиженский торжок в Паршу. Миткали повезли. Приехали, на постоялом дворе пару чая заказали. Базарить начали с утра пораньше. К вечеру опорожнились короба. На дорогу зашли в трактир, штоф купили да другой. Позахмелели с выручки. Ехать было собрались, а Петр за пазуху:

— Ба, а где деньги?

Спяну-то обронил, а можа и вытащили у него. Герасим, глядя на Петра, тоже за кошелек. И у того кошелька в кармане как не бывало. Обоих очистили. Заметался Петр по трактиру. А Герасим говорит:

— Теперь хоть на стенку лезь, деньги не воротишь. Знать тому быть. Давай купим на дорогу еще по шкалику, можа легче станет.

Петр отвечает:

— Не мешало бы. Да на что брать? Денег ни полушки.

— А мы опояски заложим, — советует Герасим...

— Нет, я свою опояску не заложу, целковый плачен, жалко, — отвечает Петр.

— Ну, так я свою заложу, моя хоть тоже не больно стара, да ладно.

Дал им трактирщик за опояску еще по шкалику. Это сверх сыти, с горя на путь-дорогу. По шкалику-то добавили и повеселели, про кражу забыли, едут, песенки попевают:

Рябинка моя,
Калинка моя.

Стемнело. Заполночь как раз в березняк-то и выехали. На дороге ни души. Только их две тележки поскрипывают, дивы, журавли по осени. Луна над лесом полная, как пряжи клубье. В лесу тихо. Только под кусточками холодные огоньки светятся — светлячки стало быть... А березы от земли до верху ровно миткалем обвиты — белые, белые...

— Что бабам своим дома скажем, не больно выручка-то у нас нонче гожа? — спрашивает Герасим Петра. Он свою лошадь вперед пустил, а сам сел к Петру на дроги.

— Лучше и не бай, не знаю, как в избу показаться. Моя ведьма узнает — глаза выцарапает, — отвечает Петр.

Так-то они едут да на березы любуются. Герасим и говорит:

— Глянь, одно слово: миткалевые березы.

— Гожи. Вот бы нам залечить свою проруху, смотреть хоть с одной березки.

Только проговорил это Петр, — передняя зацепила за пенек, хруп, — ось пополам, а колесо под куст покатилося.

Выругался Герасим:

— Ни лисы, ни рыбы. И миткали прогулял и телегу поломал.

Остановили лошадь, слезли: что делать? На трех колесах не поедешь. Ну, топор у них изгодился. Свернули лошадей на куртинку, привязали к березе, сами пошли потяжком искать, взамен колеса под заднюю ось поставить... С краю у дороги подходящего дерева не видно: то кустарник мелкий, то березы в обхват. Зашли подальше, вырубил. Только бы им из чащи выходить, глядят — перед ними белый сугроб лежит. Что за диковина? Обомлели мужики. И выходит из лесу дедушка седенький, в лаптях, в белой рубаше, в белых штанах.

Сел дед на пенек да и говорит:

— Товар готовлю... миткаль, стало быть...

— А много у тебя миткалю? — мужики выспрашивают.

— На мой век хватит.

— А станов много ли?

— Сколько в лесу берез, столько и станов...

Герасим с Петром переглянулись. Видят: дед себе на уме.

— А где ты живешь? И зовут тебя как?

— Намекну: там где люди, там и я. А зовут меня Березовый хозяин.

И сам спрашивает:

— Что же вы, робяты, пригорюнились? Водочкой от обоих папахивает, а весельем ничуть...

Они ему про свое горе и расскажи. Герасим, тот не больно убивается:

— Ладно, только бы доехать, а там еще натку миткалей, были бы руки.

Петр за другую вожжу тянет:

— Баба со света сживет. Не знаю, чем обороняться...

Березовый хозяин подумал, подумал, хитренько прищурился, пригляделся к мужикам и советует им:

— Раз у вас ухабина такая, помогу я вам. Вижу, мужики степенные, язык умеете за зубами держать, в деле моем не нагадите. Открою я вам тайность одну, только об этом ни отцу, ни матери, ни жене не рассказывайте. Миткаля у меня горы и девать его некуда. Дарю я вам первосортной ткани по тележке. Весь свой промах загладите, и бабы вас

журить не станут. Скажете: мол завозно было, не разбазарили. А на другом торжке к вашему миткалю подступу не будет. Однако в цене народ не притесняйте. На торжок-то вы графьте ночью ехать, по луне. К вашему товару я кусочков по сотенке добавлять стану. Но помните: тому из вас, кто правду нарушит, все блага слезами отплатятся.

— А ты нас научи, что не делать-то! — Герасим с Петром добиваются.

— Сами догадайтесь.

Встал это он. Подошел к березе, пощупал и говорит:

— Вот это и есть мой миткаль.

И научил он, как с берез миткаль снимать.

Пошло дело.

Герасим и Петр в свои кучи кладут куски, а Березовый хозяин один кусок Герасиму бросит, другой Петру — обоим поровну. И на тележки носить пособил. Накладывали миткалей гору, вровень с дугой.

— Ну, поезжайте потихоньку-полегоньку!

Сказали они Березовому хозяину спасибо и поехали. Герасим на возу полеживает да на дугу поглядывает. А Петр место примечает — где в случае деда искать. Место выпало — приметно, лучше быть не надо: над дорогой молодая береза дугой согнулась. Надо полагать, буря за непокорство взяла ее за зеленые вихры да до самой земли и наклонила.

Неделя прошла, и повезли Герасим с Петром свою кладь в Паршу. Не успели они в ряду встать, берут их миткаль нарасхват. Петр на грош подороже брал, чем Герасим, ну, да это его дело.

На базаре ни души, все лавки давно на замке, а Герасим с Петром только лошадей подсупонивают. Не торопятся. Свое гнут. Трафят по луне к Березовому хозяину угадать.

Поехали. Герасим песенки попевает, а Петр всю дорогу словом не обмолвится, — мутит мужика. Вспомнил он слова дедушки о том, чтобы правду не нарушать. А он и на миткаль лишний грош накиннул, и дома вчера вгорячах отца с матерью ни за что, ни про что обругал, и жену в омшанике побил. Не будет, думает, за это поблажки.

Луна клубьем выплыла, в лесу светло стало. Вот и молодая березка дугой над дорогой висит. Тпру, стой! Пошли в лес соседи. А дед на своем месте — миткаль складывает.

— Как побазарили? — первым делом спрашивает.

— Гожо! — мужики в ответ.

— А заветку мою не забыли? Правду не нарушили? — допытывается старик.

Герасим сел на пенек, скрутил покурить, отвечает за себя:

— Пока что держусь.

Петр покраснел, как медный самовар, пыхтит, дуется, а что сказать — не знает: ни сознаться, ни нет, можа старик и не проведает про лишний грош, про стариков да про жену. И удумал Петр утаить:

— Да и я, батенька, вроде никакой вины не чую.

Старик поморщился, словно комарик его укусил.

— Коли так, — берите товарчику на добро здоровье.

Нагрузили Герасим с Петром миткаля по целой тележке, сто спасибо дедушке сказали и поехали. У Петра от сердца отлегло. Думает: не так уж ты, дедка, хитер, я на провер хитрее тебя вышел; ничего-то ты не отгадал; так ли бы я тебя обыграл, кабы не Герасим, — с ним каши не сварить. Знал Петр, что сосед — человек прямой души.

Вот и замыслил он отпехнуть Герасима от себя. Наутро взял кузовок — и чуть свет в березняк. У приметки полез в чащобу, миткаль сразу не сматывает. Тоже плутист был. Березки щупает, а ухо остро держит, к каждому голосу, к каждому шороху прислушивается, под кусты глядит да в ягодник, диви, ягоды да грибы собирает. Нет-нет да негромко оголчит:

— Дедка, а дедка, где ты?

На деле дедка-то ему и вовсе лишний — только опасался Петр, как бы впросак не попасть. Примешься без дозволения миткаль сматывать, а Березовый хозяин и явится.

Гукнет Петр да постоит с минутку под кустом, опять гукнет и головой во все стороны вертит. Смекнул он, что Березовому хозяину днем-то недосуг за своими владениями надзор держать, и посмелей стал. Вынул ножик — и давай с берез миткаль полосовать, в куски катать, вязанки вязать. А руки так и трясутся. Взвалил вязанку на плечо, и давай бог ноги: рад, что хозяин не заметил. Бежит чащей, земли под собой не чует, только сучья трещат, ни дать, ни взять сохатый от стрелки спасается. Еле жив выбрался из чащи. Все-таки принес вязанку.

Только к дому-то подходит, а сосед тут как тут:

— Отколе это ты такой миткаль достал?

— Да на Студенцах отбеливал.

А сам с вязанкой скорее в сенцы, и дверь на захов.

Вскорости опять с Герасимом на ярманку тронулись. Шагают сзади за возами. Герасим и спрашивает:

— Петр, у тебя вроде воз-то поболее моего?

— Полно тебе чужое считать. Глаза завидуши. Не с одних ли берез с тобой катали?

— Знать повиделось...

И больше Герасим не допытывался. Спросил к слову, а не к чему-нибудь. Не жаден был.

Не успели товары раскинуть — минтом раскупили. Петр еще копейчку с куска надбавил — все равно берут. На обратном-то пути Герасим ткнулся в передок, на сенце мягко, едет — похрапывает. Лошадь трусит бойко. Сзади в телеге Петр сидит, подсчитывает: на сколько больше выручил.

Глядь, у самого леса, обочь дороги, нищий сидит, и костыли и корзинка рядышком. Видно хворь замаяла, из сил выбился. Увидел возы — ползет к дороге, просит:

— Довези, родной, умаялся.

Петр глянул на него, а сам кнутом лошадь шугнул. Так и остался нищий среди дороги.

Въехали в лес. Тут Петр и вспомнил наказ старика. Сначала было подумал: вернуться. А потом решил: о прежнем не узнал и об этом невдомек будет Березовому хозяину. Махнул рукой: сойдет.

Подъехали к березке, что над дорогой висит. Опять дед в чаще их встречает:

— Как базарилось?

— Денежно!

— Охулки какой на себя не положили?

— По-честному базарили, — отвечает Герасим. А Петр ему поддакивает.

Старичок только вздохнул, а поперек слова не молвил. Указал на березы, — скатывайте, мол, миткаль.

Раз-два — и готово по возу. Домой веселехоньки заявились, особенно Петр. Он уж прикидывает: пожалуй и воз миткалю можно зацепить тайком от Герасима.

Задумано — сделано. Недели не прошло, поехал он к чорту на кулички в березняк за дровами, а на дворе дров и без того три поленицы стояло сухих, с осени были заготовлены. К вечеру везет хворосту воз. Во дворе сбросил, а внизу миткаль.

Опять Березовый хозяин ничего не заметил.

— Откуда миткаль? — спросила жена.

Он ей на ухо шепнул, смертной клятвой приказал другим рассказывать.

Повезли они с Герасимом товары на базар. У Петра на возу вдвое больше. Герасим головой покачивает:

— Откуда ты, Петр, взял с эстолько?

Петр глазом не моргнул:

— А все оттуда. Баба с девкой ночи напролет ткали. Вот и подбавили.

Ну, подбавили, так подбавили, а Герасиму что?

На базар приехали и узнали там про несчастье. Чужеземцы на нашу землю войной пошли.

Вернулись мужики, миткалей не продали.

А война — дальше, больше. Враги все пожгли. И нашего края часть захватили. Как раз в то село заползли, где Петр и Герасим жили. Герасим видит — дело плохо: с чужеземцами мириться никак нельзя. Выбрал ночь потемнее, взял краюху хлеба в мешок, топор за пояс да в тот самый березняк и подался, где, было время, миткали сматывали. Много там мужиков скопилось. Улучат момент, как едут эти чужеземцы по селам чужие сундуки проверять, и тут как тут — с топорами да с вилами. Немало наши-то в те поры незваных гостей уложили.

А Петр в селе остался, не захотел с Герасимом итти. И подумался Петр свой миткаль чужеземцам-солдатам сбывать — выгодно оказалось: оборваны, ни портянок на ногах, ни рубашек на плечах. Петру главно прибыль была бы, палку железную готов зубами грызть, только бы в богатстве жить. Да недолго ему побазарить привелось. Одна подстерегли мужички в лесу целый обоз чужеземцев, приняли их в топоры и всех на месте в березнячке и положили. Глядят — на всех чужеземцах белые миткалевые рубашки. И миткаль чудесный. Герасим сразу понял, откуда этот миткаль. Призадумался он. И в ум брать не хочется, что Петр с чужеземцами торг завел.

Тут выходит из березнячка дедок, знакомый Герасима, глянул на чужеземцев и сказал Герасиму:

— Зачем эти шли, то и получили. А одевать их в нашу одёжку не след. Весь мой миткаль осквернили.

Опечалился Березовый хозяин и пошел в лес, словно горю на плечах понес.

Как очистили землю от врагов, вернулся Герасим домой. В народе слух нехороший: кто-то-де с чужеземцами в спайке был, наши ивановские миткали им сбывал. На Петра кивают. Потянули его к дознанью. Он показывает рубашку с убитого иноземца и говорит судье:

— У меня такого миткаля в помине не было. Пройдите, посмотрите по клетям, кто такой миткаль ткёт.

И дает намек на Герасима.

Пошли к Герасиму во двор, а у него, сеном закидан, целый воз такого миткаля стоит, того самого, что в последний раз с базара непроданным привез. Так и выкрутился

Петр, а Герасима утопил. На язык-то Герасим был не мастер. Тыр, пыр, ничего путного за себя сказать не умеет.

— Твой миткаль?

— Мой.

— Сам выткал?

— Нет!

— А откуда взял?

— Сказать не могу.

Не хотел он нарушать наказа Березового хозяина.

— А еще у кого такой миткаль есть?

— Пожалуй ни у кого.

Петра он не выдает.

Взяли Герасима под стражу.

Петр и вовсе духом воспрянул. — Ну, — думает, — теперь ни с кем не придется миткалем делиться. Весь пай будет мой. — И немедля к бабе Герасима заявился:

— Продай Пеганку, он теперь тебе не нужен. Твоево мужика на поселение отправят. Я все узнал.

Та было сперва не соглашалась, а потом уступила, послушала Петра, продала, чтобы судье подарок сделать, мужа выручить.

Запряг Петр двух коней и лунной ночью подъехал к согнутой березе, забрался в чащобу. А навстречу ему дед.

— Где Герасим?

— Пропал. Не жди его больше. Правду нарушил.

Погоревал старик:

— Жалко мужика. Как это я промахнулся?

Петру он не отказал, два возка миткаля сподобил.

И пришла тут Петру такая гнилая мыслишка:

— А порешу-ка я вовсе старика. Заделаюсь сам березовым хозяином.

С выручкой на ярманке вина корзину купил. Половина в черных бутылках, половина в зеленых. Взял да и подпустил в зеленые-то яду. И сразу к старику. А тот за своим делом: в куски миткаль катает. Петр с обнимкой да лаской:

— Дедушка, давай гульнем на радостях. За все твоё добро хочется добром отплатить. Я для тебя самых наилучших вин припас.

— Что же, давай чокнемся! — старик не против.

Сели они на пеньки под березой. Старику из зеленой бутылки налил, себе из черной.

Чокнулись. Только было старик кружку ко рту поднес да задумался. Достал ножичек-складничок, надрезал кожуцу на березе, слезы березовые потекли. Подставил старик свою кружку.

Петр к нему:

— Зачем ты это?

— С лесной-то водой слаще, — отвечает Березовый хозяин.

Выпили по кружке, да по другой, да по третьей. И пошло дело. Старику Петр из зеленых бутылок наливает, себе из черных. Видит Петр, что дедка порядком захмелел, а с ног не валится. Даже в сумленье Петр впал: с чего бы это. И вдруг дед с пенька кувырк, и кружка из рук покати-лась. Петр к старику, а тот и не дышит.

Петр скорее с ножом к березе. Полоснул, а вместо миткаля-то береста простая. Он к другой — и там тоже. И у третьей не лучше. Почитай, половину леса обегал, ни на одну миткалевую березу не напал. Он обратно: хоть бы готовый-то миткаль не проворонить. Подбегает, а и там груды бересты лежит, баранчиками свернулась. Тут Петр столбом встал. А в эту минуту дед поднимается, как ни в чем не бывало. Ни хмелинки в нем. И глаза сердитые, инда искорки мечут.

— Прошибся ты, Петр.

Потемнело небо. Луна пропала. И такие ли тучи надвинулись со всех сторон, гром ударил, ровно земля рушится. Лес трещит, стонет.

Петр, было, бежать. Да куда там! Вперед сунется — молния перед ним так в землю и вопьется. Назад подастся — и там молния. Он кричать:

— Дедка, прости! Дедка, спаси!

А ветер так и метет, так и гнет деревья до земли, с корнем выворачивает. Понял мужик: гибель подходит. И тут увидел он рядом толстую старую березу, а дупло в ней — стоймя войдешь. Сунулся Петруха в то дупло, не успел влезть, а с неба молния угодила как раз в ту березу, инда застонало дерево стоном человеческим.

Деревянеют у Петра ноги. Стонать стонет, а слова не скажет. Затягивает его береза в себя.

Дед и говорит ему:

— Вечной мукой тебе изнывать. И за то, что народ обманывал, лишние копейки брал, и за то, что тайком в березняк ездил, а сегодня руку на меня поднял. Но это еще полбеды. Никогда тебе не простится, что помогал ты врагам родной земли, соседа своего, праведного человека, загубить вздумал.

Отошел старик от березы, и стал лес утихать.

А утром, как мужики судье все объяснили, что Герасим с ними против чужеземцев воевал, так выпустили его.

После этого нет-нет Березовый хозяин ему кусочков десятка миткала и подбросит.

А страшная береза и сейчас скрипит, по ночам проезжих пугает.

ПАЛЬМОВАЯ ДОСКА

В те поры заикнись, скажи хозяину:

— Мол, как фабрику-то сгрохал? Мошенством да ложью.— Он те и выговорить не даст, рот заткнет: своим-де трудом, ночей-де не спал...

А старики знали, что это был за труд. Нивесть про кого — нето про Бурылина, нето про Бабурина, а может и про Бубнова, — больше всего, правда, Бурылина называли — слушок шел, что нечисто у него дело. Был Бурылин перво-статейный воротила, много нахапал, девать некуда, по горло в золоте сидел, а сам глядел, как бы еще денежку клюнуть.

Все зачалось с пустяковины. В Иваново, сказывают, явился Бурылин в липовых лаптях, в заплатанных портках, копейки за душой не было. На работу определяться стал. А ремесла никакого не знает. Куда ни торкнется, все такая должность, что семеро наваливают, один тащи. В мытилку брали — не пошел: грязно и не денежно. В заварку звали — жарко, и оклад мал, отказался. В бельнике с недельку у Грачева поработал, на попятную кинулся — кости ноют, лапти преют, да и то, братец мой, в бельнике не озолотишься.

А глаза у Бурылина завидующие, смотрит он на чужое богатство, как голодный пес на мясо. Ну да где его, богатство-то, возьмешь, на улице не подберешь, никто про тебя не потерял.

Долго так слонялся Бурылин с фабрики на фабрику.

Встретился он на гарелинской с набойщиком Федотом. Тот заводчиком на верстаке работал, всему куску лицо давал, первая борозда его была. Как он обозначит свою линию на полотне, помощники за ним доделывают — грунтовщики, расцветчики. И такие ли Федот ситцы набивал, что и красиво и прочно: носи — не сносишь, стирай — не состираешь. Резчик к тому же был незаменимый: днем с огнем таких наши фабриканты искали, в набоешной его на вес золота ценили.

Другие набойщики чужими «набивными» работали. У самих-то мастерства нехватало доску вырезать, манер выдумать. А Федот сам до всего доходил. Пальмы нет — грушу

срубит и так тонко вырежет, тютельница в тютельница, что диву даешься.

Вот раз заглянул Бурылин на Кабацкую в кабак. Видит: Федот за столом сидит, косушку пропустил, требухой закусывает, сбитнем запивает. Подсел к нему Бурылин. Слово за слово, разговорились. Всяк о своем печалится. Бурылин на жизнь жалуется, работенки денежной не находит. Спросил Федота, много ли тот получает.

— Три целковых на день выгоню, — отвечает Федот.

— Ах, паря, три целковых, немало! А много-ль проживешь?

— Гривен пять в день.

— Где столуешься?

— При фабрике.

— Так у тебя два с полтиной чистоганом остается... Да я бы на твоём месте давно свою светелку открыл аль прядильню. Мужиков нанял. Ты бы сам ко мне пришел, я бы тебе не трешну, а пятерку положил.

А Федот в ответ ему:

— Горяч ты парень, как я погляжу. Мне и без светелки добро. Жить-то немного осталось. Не привык на чужой спине кататься. Смолоду не научился, а под старость и подавно грех на душу брать не хочу.

Бурылину федотовский заработок занозой в душу вошел, да не знает, с какого бока к этим деньгам подъехать.

— Выучи меня твоему ремеслу, — просит он заводчика.

Федот не из таких, чтобы свое ремесло за семью замками прятать: сыновей у него не было, искусство передавать некому.

— Обучить-то, — говорит, — не шутка. Погодишься ли ты? Тут тоже, братец, смекалка нужна. А пуще всего глаз зоркий да рука меткая. Многих я учил, да что-то ни у кого по-моему не получается, набивают кой-как, грунта могут делать, расцветчиками вышли, а заводчиками — нет. Однако попытаться не заказано.

Еще косушку заказал, крикнул половому:

— Принеси-ка, милый, уголек из горнушки.

Тот принес. Федот грамотку положил, дает задачу Бурылину:

— Глянь на блюдо, вишь какая земляника намазана. Переведи ее на лист.

Бурылин взял уголек, приоровился да, не торопясь, и перевел на грамотку. Вышло не больно казисто, но для первого раза терпимо.

Федот повертел, повертел грамотку и говорит:

— А што, паря, из тебя толк будет. Споровка есть. Коли возьмешься за разум, на заводчика со временем погодишься. А на грунтовщика и гадать нечего: пойдет. Учить тебя не прочь.

Прямо за столом и стакнулись. И платы никакой Федот за обучение не потребовал.

Утром Бурылин в набоешную пожаловал. За верстак рядом с Федотом встал. Кисло в набоешной, запашок — не хвали, слезу с непривычки у Бурылина выжимает. А парень здоровый, маковкой под потолок, глаза на выкате, волосы в ржавчину-ударяют, кулаки, что твои гири пудовые. Федот ему как раз по локоть. Старичишка так себе, трухлявенький, грудь впалая, спина дугой, бороденка клинышком, на волосах ленточка, очки ниткой подвязаны и ногти разноцветные.

Почали работать. Федот Бурылину наказывает:

— Смотри, не зевай, паря, на ус наматывай. Я словом учить не горазд, сам с глазу у батюшки перенимал, и ты на глаз больше прикидывай. Краску словом не почувствуешь, а глаз сразу скажет, где хорошо, где плохо.

Федот всей артелью руководит, за ним помощники подчищают, а Бурылин пока последним номером, ученик. Ясно, сразу не доверишь грунт набивать, приглядеться надо.

Федот за верстаком, как водится, доску положил, сукно раскатали, миткаль разостлали, Федот штрифовальный ящик под руку поставил, в кружку крахмалу густо налил, клеенку припас. Дело хитрое. Цветочек на ситце не сразу получается. Еще подумаешь сначала, как его смастерить.

Пошло дело колесом. Федот за заводчика на миткале, как бы походя рисунок вывел. Лента к грунтовщику пошла, тот грунт набил, дальше передал. Другие давай краской красной расписывать. А расцветчики принялись за свое: ситец голубой краской расцветили. И не узнать куска: ожил. Однако краска непрочно сидит, и яркости той нет.

— А мы сейчас ее, голубушку, веселей улыбаться заставим, — говорит Федот. — Посмотри, ученичок, как ситец до дела доходит.

Таскальщики куски на шести подняли, в заварку потащили. Федот Бурылина за собой тянет.

— Все ступени, — говорит, — ты должен пройти, тогда из тебя толк получится, и краски тебя будут слушаться, ты капризы их понимать научишься.

А на заварке хуже, чем в набоечной. Стоит избушка на курьих ножках, ни потолка, ни полу, одна крыша. Дров поленицы, печи да котлы, над котлом баран.

Федот толкнул Бурылина — что зря стоять, помоги мужикам барана вертеть, а то вишь рубахи у них взмокли, соль выступила.

— «Посирите» ситчик, — советует Федот.

Посирить, так посирить. В котле жидкий коровий помет разведен. Бухнули туда ситец. Это на закрепку, потом и в краску пустили. Принялись баран вертеть. Вертели, вертели, инда у Бурылина чортики в глазах замелькали, а уж то ли не здоров был мужик. Концы у ситца связаны, ситцевому ремню конца нет. Опосля в другую дверь на реку в мытилку поволокли, оттуда в бельник. Долго Федот Бурылина водил.

— Теперь видишь, как цветочек получается, — спрашивает.

А Бурылин никак не отдышится. Понял, что недаром Федоту три целковых даются.

И все ж-таки не отступился, хотя не о мастерстве, а о деньгах думал. За год многое раскусил. Попытался сам манер вырезать, достал грушевую доску, потел, потел, но не больно-то получилось. Федот посмотрел, говорит:

— Такой доской горшешники в старое время у себя в избе орудовали. А на нашей мануфактуре она нзм не к лицу. Устарела. Тонкости нет. Ну, — успокойл, — ничего, дойдешь.

Год прошел, другой миновал, третий покатился, день за днем, неделя за неделей. Покоя не ведал, ночей не спал, все манеры строгал, целу поленицу красного дерева перевел. И с каждым разом манер лучше да лучше получался. До того дошел, что однова Федот взял манер у Бурылина, в дело пустил и сам, пожалуй, больше ученика радовался. А править должность заводчика Бурылин все ж-таки не наловчился. За грунтовщика еще туда-сюда, а на первую руку сноровки нехватало. Федот его все ташил:

— Дай срок, — и первой рукой станешь, перешибешь меня, свое место уступлю, вторую руку править буду. Только бы толк был.

На первых порах и Бурылин, пожалуй, никакой охулки на заводчика не положил — наставленья слушал, в советы вникал, что надо по работе, спрашивал; грунтовщиков там, расцветчиков и в расчет не брал, почитал, что больше ихнего знает.

Федот в бараке со своими артельщиками ночевал, а Бурылин на Сластихе избенку в три окошечка отрядил.

И все перед Федотом своей халупой похвалялся:

— Не житье одному, а малина. Что хочу, то и делаю. Никакой помехи. Никто мне не указ, где хочу пройду, где

хочу сяду. А у вас что в бараке? Не лучше, чем в остроге. Полез спать — хребтом за верхние нары заденешь, позвонок выворотить, спросонья голову вскинул — лоб расшибешь опять-таки об те же нары. Нет тебе покоя. Один отдыхать улегся, другой на баладайка тринькает, третий в карты режется, четвертый прилаживается, как бы из чужой котомки сухари стащить. А здесь кум королю да сват министру, — печку истоплю, наварю, нажарю, напарю. Переходи, Федот, ко мне, эх, и заживем!

Другие в напарники напрашивались, да Бурылин их отначивал: не та масть. Все Федота зазывал.

Может быть и не переманил бы его Бурылин, да одна загвоздка вышла. На Спас заводчик получил денежки, пошел в лавочку, купил себе новую рубаху, положил под подушку. В Спас-то как раз он именинник был. Вечером в баньку собрался, прибежал, мочалку схватил, сунулся под подушку за обновкой, а ее как не бывало. С ним рядом Мишка Грачев спал, забулдыга-парень, — и его нет. Ну, дело ясное, — он рубаху целовальнику отнес. Федот в кабак. Там — Мишка с друзьями посиживает, попивает, кается:

— Я взял. В получку деньгами верну.

Что с ним делать? Ругнул его Федот, знает: с этого пьяницы взятки гладки, плюнул, а наутро свернул тюфяк, взял сундучок в руку да и подался на Сластиху к Бурылину в хваленую избушку.

Обрадовался Бурылин, на печи свое место Федоту уступает.

А Федот встал посередь избы и руками развел. Навалено щепы, стружек, опилок, обрезков всяких, железок, баночек — ступить негде.

— Не пойму, — говорит Федот, — у тебя здесь столярная, что ли: настрогал, нарубил, чорт ногу сломит, а другую вывихнет.

А тот умасливает:

— Это ничего, я сейчас веничком.

Федот опять за свое:

— Да у тебя хуже барака захламощено.

Собрал щепочки с пола, стал разглядывать, смекает, что стружки все грушевые да пальмовые. А из такого дерева тогда набойны вырезывали.

— Э-э! Над манерами потеешь! Меня, старого кота, за ухом почесать собираешься. Ну, ну, почеси хорошим манером. За это не обижусь.

А Бурылин эдаким дурачком прикинулся:

— Где уж мне до твоего ума да до твоей сноровки. Зря доски трачу. Мало что путного получается.

А морда маслянистая, ровно горячий блин.

Стал Федот пристраиваться со своим тюфячком на печи. Глянул — на боровке дощечка лежит. Посмотрел — пальмовая. Пощупал — узор вырезан. Только что-то больно замысловато. Поинтересовался, взял дощечку, разглядывает, а без очков ничего не видит.

— Какой узор вырезал? — с печки-то спрашивает.

Бурылин за столом сидел, пуговку к штанам пришивал.

— О чем ты? — говорит.

— На боровке дощечку взял. Что за узор?

Бурылин иголку воткнул в паз, порты бросил, кошкой на печку махнул. Цопнул дощечку да скорей в печку, в огонь ее и пуль. Взяло Федота сомнение:

— Что это ты такой секретный, уж и показать старику свое изделие не желаешь.

Даже обиделся чуток. А Бурылин крутится веретеном.

— Полно: какое мое изделие. Одно баловство. Доску извел, а ни бельмеса не вышло.

Федот опять поверил. У него у самого первое время таких промахов немало было.

Стало быть, живут они, друг другу не супротивят. Манеры вырезают, советуются, на фабрику ходят вместе, со смены вместе вертаются. С получкой, бывало, или под воскресенье штофчик принесут, раздавят.

Федот — человек хороший, а за ним слабость водилась: выпимши хвастануть любил, ремесло свое в обиду не давал. Ему нож острый слышать, что, мол, в Питере или в Москве, или еще где есть резчики лучше ивановских. Ну Бурылин-то и смекнул это.

Одна в воскресенье выпили толику, про мастерство речь пошла, Бурылин и закинул удочку:

— Хоть и хвалят, Федот, нас, ивановских, а все-таки получше мастера есть.

Федот ему в ответ:

— За ткачей не отвечаю, а резчиков мозговитей наших нет. Можя допреж встречались, а теперь мы всех перекрыли.

Бурылин, как кот около горячей каши, ходит, а все наперекор Федоту говорит:

— Ты вот баешь: лучше тебя нет резчиков. А вырежешь ли вот такой манер, как на той штуковине?

Вытаскивает из кармана платок бухарской пряжи. Персидских манеров набойка.

Федот постукал по табакерке ногтем, платок по лавке разложил, пригляделся, что к чему, и сказал:

— Персидские да заграничные, а мы што: параличные?

Пыхтел, пыхтел, вырезал да и сделал так, что получше образца получилось. Бурылину крыть нечем.

Сели обедать, Федот каши гречневой сварил, говядины для праздника в штицы бросил. А Бурылин сухарь грызет, кипятком заливает, Федот смеется.

— Зубы, парень, сломаешь. Хоть бы о празднике разговелся. Получаешь теперь с мое, а деньги бережешь.

А тот в ответ:

— Сплю и вижу свою прядильную. Лежу ночью, задумаюсь — а передо мной фабрика, кажется, иду я по ней, а веретена поют, много их, целые тысячи... А рядом с прядильной свои ткацкая и набоешная. Опомнюсь — и нет-то у меня ничегошеньки. И подступит к горлу камень, дышать нечем. Такая ли тогда злость меня на всех людей берет, что не знаю, что бы я с ними сделал. С ума меня сводит фабрика, жив не останусь, а построю. Либо в Сибирь пойду, либо вровень с большими хозяевами встану. Потому и деньги коплю. Потому и сухари грызу. Погоди, Федот, я еще вспорхну. Дай крылышки отрастить малость. Все равно, коли не добьюсь своего, — от одной зависти высохну.

А глаза у него, как у голодного волка ночью, огнем горят. И такой вид острожный, кажется, он тебе ни за что, ни про что нож под ребро всадит.

Но однако же Федоту пугаться нечего, денежек за свой век не накопил. Он и говорит Бурылину:

— Теперь вижу, какой ты. Может тебе голову сломят, а может придет время — и все перед тобой в дугу гнуться станут. Только завидуешь ты нашим тряпишникам зря. Золота у них много, а радости чуть. Грехов на них налипло, как на шелудивую собаку репейника. И никакой золотой водой не смыть им с себя черных пятен. Так с нехорошими метками и в гроб лягут.

Ну, где Бурылина сговорить.

— Да мне, — отвечает, — хоть клеймо на лбу ставь. Что из того, что я буду праведник, — нуль это все, плюнуть на меня и растереть. А перед ними все двери раскрываются. Что ни захотят, — все к ним является, как по щучьему веленью.

Так и остался при своем.

Пообедали, день был воскресный, обоим нечего делать. Бурылин опять за разговор.

— Мастер ты, Федот, что и говорить. Но есть на свете одна задачка, которую ты все-таки не осилишь.

— Все сделаю, — заявляет старик.

— А сдержишь слово?

— Чего ж не сдержать?

— Поклянись отцом-матерью, что в точности сделаешь, так что комар носа не подточит.

— И без клятвы вырежу. От слова не отступлюсь. Что за вещица, покажи. Заморская, что ли, какая диковинка? Кем делана? Коли человеком, то и я сделаю.

Вынул Бурылин из кармана кошелек, достал свою секретную штучку — сотенный билет; бумажка новенькая, похрустывает.

— Сумеешь? — пытается.

Федот увидел и на попятную.

— За такую доску — верная каторга. Мне на старости лет нет нужды в колодках ходить.

Бурылин лисой вокруг старика:

— Каторги не бойсь. Я сам на такое дело не пойду. Только попытать решил, хороший ты резчик, аль на этом манере споткнешься. Вижу кишка тонка. А то: каторга...

И потянулся к сотенной. Федот его за руку.

— Разве что для шутки. Вырежу и тут же изрублю.

Взял он сотенный билет, смотрит. А работа тонкая, на казенном дворе бумага делана, одним словом по всем правилам.

Стал Федот резать манер на пальмовой доске. Не больно споро дело подвигалось. Воскресенья четыре потел. Все ж-таки вырезал. С орлом, циферками и со всеми министерскими подписями. Хоть сейчас бери манер и печатай денежки. Показал Бурылину, ну тот и руками развел.

— Твой верх, Федот. Действительно, ты резчик первойшей руки.

Федот доволен. Еще раз дал соседу посмотреть, взял топор и пошел к порогу — рубить пальмовый манер. Бурылин у него из рук дощечку выхватил:

— Подожди, — говорит, — надо попробовать, что получится.

Штрифовальный ящик с полки снял, красочки подобрал, какие надобно, бумаги гербовой достал, видно она у него уже заранее была заготовлена, суконку подостлал, как на верстаке принято, и хлоп, хлоп. Сотенный билет готов, в точности, словно с Монетного двора подали.

— Гляди, что получается! Да мы теперь с тобой богаче всех ивановских фабрикантов станем.

Федот тут же изорвал бумажку на мелкие части.

— Отдай, — говорит, — эту пагубную доску, на горе себе я ее вырезал.

Ходит Федот по избе за Бурылиным, а тот не отдаст манера, не вырывать же ее, да и не одолеть, сила у Бурылина лошадиная, изомнет в труху.

А Бурылин говорит:

— Утром, на свету, еще посмотрю.

На иконы покстился, поклялся шельмовством не заниматься и завтра же дощечку сжечь.

И верно: наутро при Федоте бросил ее в печку.

Как-то по лету собрались они за грибами. Лес в те поры у самых фабричных ворот рос. Гриба уродилось неуберимо. Ходят Федот с Бурылиным, поговаривают, боровики ножичком под корень ломают. Все дале да дале идут в чащу. Пошли места глухие, непролазные, и солнце в ту глухомань не заглядывает. Сначала шли — аукались, потом Федот: «ау, ау!»..., а от Бурылина никакого ответа, диви, под землю провалился. Покликал, покликал Федот своего дружка, думает, не мал ребенок, не заплутается, на опушке встретимся.

К вечерку Бурылин вышел на опушку, сел на пенек, пошныстывает. Последние грибнички — свои же фабричные — из лесу возвращаются, лаптишки скидают. Бурылин спрашивает их:

— Тамotka моего деда не заметили, где его леший водит.

Бабенки голяшками сверкают, хихикают:

— Видели, на твоём Федоте волк на свадьбу покатил...

Затемно в свою халупу ввалился Бурылин. Как ступил через порог, бросил кузов на голбец, дверь на крючок, сам с лампой под стол.

Утречком в субботу конторщики в набоешной спрашивают Бурылина:

— Что наш дедка, захворал, что ли?

Бурылин объясняет все, как есть. Решил народ, что в понедельник старик раньше всех заявится. Ан не заявился.

Много понедельников прошло, Федот как в воду канул. Хозяин горевал: первостатейного заводчика лишился. Назначил Бурылина за Федота дело править. Однако у него не получалось, как у Федота, тона такого не мог задать.

О Федоте в полицию заявили, искали, искали, решили, что сгиб, и изо всех списков вычеркнули.

Казалось, чего еще надо новому заводчику Бурылину: оклад больше всех, в набоешной за главного, все под его рукой, ремеслу доходному выучил его добрый человек. Так нет, ему и этого мало. Полгода не поработал и расчет хо-

зяину заявил. Я, говорит, свою светелку строить надумал. В Приказ сбегал, грамоту принес, и с фабрики в тот же день разошли.

Приказ за Бурылина горой встал. Фабричные диву дают: быстро Бурылин в гору пошел. Давно ли в лаптях шлепал, а ныне светелку заводит.

Поставил светелку, трех лет не прошло, он ткацкую на пять корпусов завел, дом себе сгрозил. Рысаки, тройки, кареты, кучера. Жену себе взял из купецкой семьи. Не то что вровень с Грачевым и с Гарелиными стал, а еще богаче их. Ему теперь и чорт не брат. Деньги словно с неба валяются. Дивится народ. Всю власть в городе под себя подмял. Кого запугал, кого задарил. Все у него в долгу. Под его дудку не только в указе, а и в губернии пляшут. Как же, Бурылин, миллионщик.

А ткачей своих за людей не считал. Ходил по фабрике, ни на кого не глядя.

Однажды к губернатору пожаловал купец, да не один, а вместе с полицией, высыпал на стол денег мешок.

— Посмотрите, ваша милость, каковы?

Тот рассмотрел:

— Новенькие, только что со станка. Ничего не вижу.

— То-то и оно, что со станка. А у кого такой станок поставлен — неведомо. Нажгли меня сразу на все состояние. В Иванове пряжей базарил, всучили, я не досмотрел. Все бумажки фальшивые.

Губернатор говорит:

— От кого получил?

— От бурылинского приказчика.

Поморщился губернатор, когда услышал о Бурылине, но делать нечего, надо где-то шельмеца искать. Дело-то нештучное. Однако поторкались, поторкались, а на след не попали.

Одно осталось: ехать к самому Бурылину. Отправился губернатор. Полицейских с собой прихватил для порядку.

Пошарили по комнатам — ничего не нашли. Заглянул губернатор в погребную яму, а там и красочки и станочек стоит, федотовы дощечки пристроены, и бумага белая заготовлена — нарезана как раз на сотенный билет. Другому бывшая каторга али петля. А Бурылин сухим вылез. Станочек, верно, пришлось уничтожить, да уж он теперь Бурылину и лишний стал, свое дело успел сделать, озолотил хозяина. От губернатора Бурылин отвертелся, сунул ему сколько полагается. И в губернии без этого не обошлось. Ан царев министр как-то прослышал, встрял в эту кутерьму,

да и он на золотой-то крючок клюнул, замыл дело. Попржнему все начальство к Бурьлину в гости ездило, пили, ели, картежничали.

Годов через десять пошли парни с той фабрики, на коей Федот прежде служил, в лес по грибы. У болотинки в чаще, глядят, лежат косточки желтенькие, травой поросли, одежда сгнила, кузовок под кустом валяется и табакерка коственная тут же.

Взяли табакерку, глядят — федотова. Глянули — черепто, видно, железкой проломан. Кто прикончил — неведомо. К тому времени забыли, что Бурьлин по грибы с Федотом ходил. А дело это его рук, чьих же кроме?

Вот откуда вся Бурьлинская мануфактура пошла.

ШАЛЬ С КИСТЯМИ

Фабриканты ивановские, бывало, кто чем славился: кто платками, кто салфетками, кто плюсом. Что базарно сбывать, то и работали. А Куваев, одно время, так тот шальями всех забил. У Маракушина какие мастера были, а по-куваевски все ж не умели печатать.

Душой всему на куваевской фабрике был Илюха, заглавный колорист.

Прежде-то, недалече от Покровской горы, такое веселительное заведение было, вроде театра. Что там творилось по базарным дням, а пуще всего на масленице!

Вот одна в те поры певица в город заявила. Чтобы послушать ее, у самых дверей одну скамейку для хозяйских служащих отвели. На эту скамью и пробрался Илья. Больно уж он любил послушать, как поют.

Певица вышла, глядят все: наряды на ней больших денег стоят, самоцветными камнями горят, так и переливаются. Каких только тут камешков не пристроено. Туфли серебряные, с золотыми застежками. Платьем пол метет. Но не это народу в диво. Накинута на ней шаль, кисти до полу.

Ну, похлопали приезжей, петь она принялась. Сразу все притихли. Спела. Еще просят. И, почитай, раз пятнадцать принималась. Илюха радовался: все ладони обил, сам себя не помнит, ровно на седьмое небо угодил, глаз с певички не сводит. Тянется и тянется вперед, хочется ему наперед выскочить, да как ты выскочишь? Там люди другой расцветки. Хоть Илюха и был мастер знаменитый, но все ж сорт для него неподходящий впереди-то.

Захотел Илюха сказать певичке ласковое слово, да говорить красно не умел: такой уж уродился. Про себя знает, что хочет, а сказывать станет — в двух словах запутается, сбьется и только рукой махнет. Ну, да его и без этих слов изумели: работа его сама за себя говорила.

Вот он скоренько выбежал за угол, купил целую охапку ветов и к певичке туда, где она отдыхала. Поклонился, от души принять просит. Ну, та не отказалась. И, видно, довольна букетом.

Цветы ей не внове, а то дорого, что рабочий человек их однес.

Илюха как шаль вблизи увидел, так и глаз отвести не может: хорош рисунок, пышны кисти. Другой бы завел бедду, сказал, кто он. Ну, а Илюха на разговоры не горазд. Ходить надо, а уйти сил нет: приворожила шаль.

А барыня сняла эту шаль с плеч, в шкаф ее повесила и сама, помешкав, подалась за переборку на другой лад рваться. После отдыха-то с другой забавой показываться надо.

Видит Илюха в открытом шкафу шаль висит. Руки сами собой потянулись. Раскинул шаль и обомлел. Много через его руки товаров всяких прошло, а такого не видывал: всю в горсть возьмешь. А расцветка, что твоя радуга. Захотелось Илюхе сделать такую же.

Случалось, что из альбома и за полчаса заграничный мастер перенимал, по-своему переводил, а бывало, и неделями сидел одной какой-нибудь полоской просиживал. Раз на раз не выходит. И мастер мастеру рознь, не птица, в одно перо не водишься. Тут все зависит, как скоро в толк возьмешь, с какого края дело начинать, откуда линию тянуть. А нашел линию, правильно означил, там и пойдет. Грунт и расцветку известь — это уж не мудреное дело. Хуже, когда узор глазом-то видишь, а лицо с него снять — не приноровишься.

Характер у Илюхи прилипчивый: за плохое не возьмется, мимо хорошего не пройдет, обязательно приглядится, а что в сердце придется, готов не есть, не пить, — на свой лад укрепит.

Кончила артистка концерт, в комнатку вошла, видит, шкаф открыт, а шали нет. Так она и ахнула, упала на мягкий стул, обняла голову и давай реветь. Места не находит, рекой льется. Те, кто вхож к ней был, в уговоры пустились:

— Не горюй, мол, найдется.

Да где тут уговорить! Она в крик. А как шаль улетела, что то не ведает. Ее спрашивают:

— Не входил ли кто в комнатку?

— Этого, — говорит, — я не знаю. Одного помню — степенного человека, что цветы приносил. Но на него я никак не думаю. У него в глазах вся душа видна.

Полиция в сумление вошла: «Куда шаль подевалась ровно по воздуху улетела».

А молодочка пригорюнилась, да и крепко. Покой потеряла, не спит, не ест, ходит из угла в угол по квартире, то ногти кусает, то пальцами похрустывает. И одно твердит:

— Мошенника поймайте!

Ей, было, такой предлог дали те, кто побогаче:

— Полно, мол, печалиться, другую шаль напоешь, еще лучше. А захочешь, заместо одной две шали купим, хошь с золотыми кистями, а хошь с серебряными.

А она о своем думает. Не нужны ей золотые да серебряные кисти, у нее шаль-то с плеч украли памятную: подарок хорошего человека.

— Кто ж цветы-то приносил? — спрашивают.

А она:

— Человек в картузе, в сапогах, в пиджаке черном.

Больше ничего и не запомнила.

На фабрике мало ли людей в сапогах, в пиджаках ходило. Потужили, поахали, на одном сошлись: раз не шаль дорога, а память, — ничего не поделаешь. В ту же ночь все оповестили, объявку сделали, что тому, кто принесет шаль в десять раз дороже заплатят. И ни свет, ни заря афишки по городу вывесили.

Ждут-пождут. Однако никто с шалью не объявляется. Видно тут какая-то загадка есть: не соблазняется вор деньгами.

Утром Илюха с хозяином у ворот встретились. Илюха тужит: слыхано ли, видано ли в нашем краю, чтобы заезжег человека обижали, да еще какого человека-то! Руки бы по локти мошеннику обить.

А Куваев в бороду себе посмеивается, плутовато поглядывает.

Потужил, потужил Илья о чужом горе — да наверх, на свою половину, от всех наглухо закрытую, и подался. В окнах решетка железная — пять прутьев стояком да четыре поперек, не тюрьма, а малость схожа.

Илья фартук подвязал, лычко на волосы приспособил. Куваев опять тут как тут, по круглому лицу улыбка расплылась, будто по горячему блину масло. Таким-то розовым он только после хорошей выручки бывал. Вошел, по сторонам глянул, нет ли кого чужого, дверь на крючок, да и раскинул перед Ильей ту самую шаль с кистями... Илюха инда вско

дил. Глазам не верит. Понял он, что подговорил хозяин какого-нибудь колоброды, и стащил тот шаль у певички.

Куваев и говорит:

— Сведи узор в точности! Знаешь, это не шаль, а клад! Для меня — это две новых фабрики.

И, братец ты мой, ведь не шутит! Илья было на дыбы. Выходит, мол, вы меня в свое шельмовство мешаете? — Нелзя что ли было по чести шаль заполучить?

Хозяин ему в ответ:

— Не твоего ума дело! Делай, что велено.

И на чай-то Куваев сулит, и ружье-то Илюхе обещает бельгийско. А Илюха упирается. В жизни у него первый такой случай.

Стал тогда Куваев грозить:

— Пока не снимешь узора — не вылезешь из своей голубятни. Запру, а у двери человека поставлю. Станешь буяннить — засужу, — моя сила...

И перетянул Куваев-то, принялся Илюха узор снимать, с такой оговоркой, что, мол, как снимет узор, — в тот же час шаль певичке сам в ее руки отдаст, земным поклоном за хозяина прощенья попросит, а пока шаль в работе — известит, пусть-де не убивается, шаль нашлась. Куваев вызвался сходить к певичке. Ну, да это он только на словах, чтобы пыль в глаза Илье пустить. Сам запер мастера на ключ и ни к какой певичке не пошел.

Илюха над узором корпит, заточен, как острожник. Не сразу раскусил узор, видно тоже хитрая да умелая рука его выписывала. Ну все-таки волос в волос вывел. Что тот узор, что этот — один от другого не отличишь.

Певичка-то видит, что никакая полиция не отыщет ее шаль, раскапризничалась, больше и петь не стала, наняла извозчика да и укатила в Кинешму, там на пароход села и в низовые города поплыла.

Уехала, а час погодя, не больше, к тому дому, где барынька на квартире стояла, подлетел Илюха, сломя голову, шаль под пазухой несет. Ему говорят:

— Нет ее. Зарок дала: «Золотом усыпьте дорогу, больше в эту местность не приеду. Рану получила незалечимую».

Опечалился Илья. Хоть и хорошо снял узор, а не радует его работа: в народе-то кой-кто виновником Илюху считал.

Заперся мастер в своей лабораторке и все что-то мудрует. Людям не в диковину: и прежде он ночей не спал, старался, словно в святое место, в свой угол никого не пускал, а теперь и подавно.

Как уехала певичка, так вскорости про нее забыли, словно и не было ее. А кой-кто и посмеялся:

— Пела, пела, да шаль с кистями и пропела.

Илья таких насмешек слушать не мог. Очень уж он песню то любил.

— Хорошо, — баит, — пела, лучше нельзя. Так пела, что мертвое сердце и то отогреет. А шаль она себе наживет такую ли.

Можя месяц, а можа и поболее прошло. Куваев глядь-поглядь, гоголем летает. Вот раз поехал он на большую ярманку в Нижний и Илюху с собой захватил — колер чужой высматривать, новинки перенимать. Это уж, будь спокоен, — делалось без утайки.

Народу на ярманке море-океан, глазом не окинешь. Побазарили, побазарили, отдохнуть захотелось. Услышал Илья, что вечером в театре песни петь будут. Пробрался туда. Глядит: выходит та самая певичка, что шаль потеряла. Ну, как он ее увидел, в ладоши захолопал. А певичка то соловьем зальется, а то и того слаще. У всех пеньем своим души потрясла.

Вернулся Илья в трактир, шей похлебал, раскинул поддевку, приготовился на полу спать. Рядом на лавке Куваев похрапывает. Ворочается Илья с боку на бок, не спится ему. Нет, нет, да и вздохнет. Захороводили его песни. Утром опять за свое дело. Торгуют бойко, в лавку к Куваеву народ валом валит. У прилавка не протиснешься: молодайки, парни с девками любят, дивуются. И что за шали Куваев привез. Что за расцветка, кто ее выдумал, кто их выделывал? Однако и цена хороша. Другая девица повертит, повертит шаль — а в кармане-то жидковато, и пойдет из лавки ни с чем. Куваев не тужит: такой товар не завалается, только успевай денежки получать. А Илья положил в коробку две шали, — одна-то у него давно припасена, — разузнал, где артистка проживает, и отправился к ней. Откуда только смелость у мужика взялась, откуда слова объявились. Знать, припомнил старую обиду и за весь родной город один надумал прощенья просить. Вошел, картуз еще за дверью снял, под пазухой коробку держит, а щеки у него красней пунцового ситцу, и в глаза вроде глядеть боится. Певичка сидит, свое дело правит.

— Что нужно? — спрашивает.

Илья коробку на стол кладет. Певичка на него смотрит так цепко, так цепко, что ой, ой. Вроде как бы что-то она припоминает. В Илье красоты особой не было, человек как человек, одежда тоже не ахти какая: сапоги смазные, штаны

в дудку, пиджак черный, рубаха синяя с косою полосочкой да картуз с лаковым козырьком. Дивно: всю жизнь человек расцветки да колера выдумывал, о других заботился, других рядил, а себя приодеть, нарядить все некогда да недосуг было. Поглядела, поглядела артистка на него да и спрашивает:

— Не вы ли цветы мне в Иванове приносили?

— Илья Краскин, тот самый, стало быть, приносил. Проще сказать — я.

Сразу запечалилась краля, припомнила, какая беда у нее в тот вечер стряслась. Сказала она об этом Илье. А Илья и без того помнит.

— Вина, — говорит, — и моя и не моя. Я бы без дозволения и на минуту шаль не задержал. Один человечешка до вашей шали дотянулся. Дело прошлое, бес с ним.

И рассказал ей все. А напоследок так баит:

— Я же ради узора, ради цвета, ради красоты вот этой не одну ночь над шалью просидел.

Певичка говорит:

— Да разве кто в силах такую расцветку сделать? Шаль-то ведь самая редкая, заграничная. Мастер, который ее разрисовывал, можа, на всю вселенную один.

Илья в усы ухмыляется, открывает коробку, в пояс кланяется, с почтением да уважением просит не обессудить за подарок.

— Ткачи, резчики, раклисты, — говорит, — велели в ноги поклониться, подарок прислали: две шали. Одна ваша, друга наша, выбирайте, котора краше...

И вот на правую руку Илья кинул одну шаль, на левую — другую. Так и ахнула певичка, ладошами всплеснула. Уж больно шали гожи. А котора шаль ее — не разберет: и на свет посмотрит, и в пальцах помнет, и на плечи накинёт, то-к одной приноровится, то за другую возьмется.

Илья поглядывает да посмеивается: обе шали одинаковы, как два листка на березе.

Думала-думала певичка и выбрала. Сняла шаль у Илья с левой руки:

— Она ли? Не обознались? — спрашивает мастер.

— Не обозналась, это моя память, — говорит певичка. А сама прижала шаль к груди и давай целовать, словно с живой с ней разговаривает.

Илья спросил:

— Почему-де так решили?

А та в ответ:

— Моя шаль заграничная, вроде получше сделана, ее, значит, и выбрала.

Тут Илья рассмеялся.

— Вот она память ваша на правой руке, и приметка есть: в семь нитей кисть вязана, а наша в двенадцать. Не снимайте ее с плеч, носите на здоровьице.

Поклонился он еще раз в пояс да и вон. А краля так и осталась посреди комнаты. Одна шаль у нее на плечах, кисти до полу, другую в руках держит. Была память о сердечном друге, а стала теперь еще память о ивановских мастерах — золотые руки.

Д. Семеновский

ПРИВЕТ — СИЛЬНЫМ!

Да здравствуют мышцы атлета,
Румянец и темный загар, —
Подарок погожего лета,
Горячего солнышка дар!

Привет вам, привет, соколята,
Чья слава по свету звенит,
Чьи быстрые ноги крылаты,
А мускулы — твердый гранит.

Недаром победой «Динамо»
Закончился лондонский матч.
В ворота противника прямо
Вы гнали стремительный мяч.

Недаром дивились норвежцы
Спортсменам советской Москвы.
Всех лучше у них конькобежцы, —
Их сзади оставили вы.

Привет вам веселым, как утро,
Товарищам славных побед, —
Девичьей весне пышногрудой
И юношам стройным — привет.

Знакомо вам золото пляжа,
Звенящий истомою зной,
Высокого облачка пряжа
И холод купели речной.

Вам летнее солнце давало
Надежный и прочный закал,
Вас робко струя целовала
И нехотя ветер ласкал.

О, молодость, бегай и плавай,
Борись с закипевшей волной,
Иди на Эльбрус среброглавый
Сквозь бурю тропой ледяной.

На лыжах навстречу метели
Скользи с крутогрудых бугров.
В здоровом выносливом теле
И дух человека здоров.

Чьи щеки румянятся в холод,
Кто знает, как радостен бег,
Тот будет до старости молод,
Тот юношей будет весь век.

Да здравствуют ловкость и сила
Гимнаста, пловца, бегуна,
Чью грудь позолота покрыла,
Чьи плечи ласкала волна!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Через кошмары наяву
И все несчастья и беды
Пришли народы к торжеству
Так страстно чаемой победы.

Мы помним этот год. Весна
Ломала лед речных окраин,
И дожидалась целина,
Когда пахать придет хозяин.

А он в ту пору брал Берлин,
И в поле пашнею парною
Шагал его мальчонка-сын
За острозубой бороною.

Но вот последний страшный бой,
Последних подвигов усилья —
И над истерзанной землей
Победа распахнула крылья.

Затравлен зверь. Закончен гон
В фашистском логове зверином,

И гордо красный флаг взнесен
Над покорившимся Берлином.
Прославленный на целый мир,
Пройдя с боями пол-Европы,
Сержант, колхозный бригадир,
На мирный кров сменил окопы.

Сидит он гостем у стола,
И вьется, вьется нить рассказа.
А на героя из угла
Глядят два восхищенных глаза.

То — повзрослевший мальчик-сын,
Который раннею весною
Шагал среди парных равнин
За острозубой бороною.

Он не упустит ничего
Из повести отца, тревожим
Одним желаньем: на него
Во всех поступках быть похожим.

ВОЛГА

Славно пахнут пристани на Волге —
Просмоленным деревом, пенькою.
Разливные песни пароходов
По воде разносятся далеко.
Летний день сиял горячим солнцем,
Овевал прохладным свежим ветром.
С пароходной палубы, открытой
Солнцу, ветру и речной прохладе,
Мы смотрели в дремлющие дали,
В марево полуденного зноя.
Уж давно ушел из глаз гористый
Кинешемский берег. Обгоняли
Мы плотов смолистых вереницы
С бородатыми богатырями
Из лесного сумрачного края,
Где таятся лоси и медведи.
Как за гусем серые гусыни,
Плыли за буксирным пароходом

Грузные медлительные барки
С домиком игрушечным, с хозяйкой,
Там и сям развесившей на солнце
Мокрое белье. Бежали снизу
Нам навстречу по стеклянной глади
Праздничные белые громады,
Шлейфом расстилая за кормою
Длинную волнистую дорогу.
С криками за ними гнались чайки
И в струистой отражались влаге.

У Николы-Меры по досчатым
Низко прогибающимся сходням,
Торопясь, сошли на берег бабы
В разноцветных ситцевых платочках,
С узелками, с сумками, с мешками,
Мальчик с книжкой, девочка
с корзинкой
И сухой кирпично-загорелый
Дед с косой, завернутой в тряпицу.
И опять, опять тянулись мимо
Бархатные мели, перекаты,
Красные береговые кручи,
Узкие глубокие овраги
С темной хвоей островерхих елок,
С белизной березников сквозистых,
Восходящих светлыми толпами
На холмы, покрытые травою.
И опять сменялись деревеньки,
Луговины с круглыми стогами,
Мальчуганы с удочками, лодки,
Пристани, стада у водополя.

Уж и Решму миновали. Где-то
Впереди, за мглой зовущей дали,
Затаился Юрьеvec-Поволжский
С тихой Унжей, скрытницей лесною.
Хороши вы, города Поволжья!
Тайный час вас обращает в сказки.
Теплым летом в легкой дымке утра
Полны вы мерцанья золотого,
Ожерельем огоньков манящих
Светитесь вы в сумерках закатных.

Хороша ты, труженица Волга, —
Желтые рассыпчатые косы,
Грудь высокая — волна крутая,
Белые туманы-сарафаны!
Небо было чисто, волны — сини.
На лугах, на островах зеленых
Убирали молодое сено, —
И ласкавший наши лица ветер
Веял ароматом сенокоса,
Медом васильков, а нам казалось:
Это — запах васильково-синей
Величаво движущейся влаги,
Это волны Волги обернулись
Синими душистыми цветами.

М. Бритов

СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

ОН С НАМИ БЫЛ...

Когда военные невзгоды
На плечи всей страны легли,
Он нас повел в бои, походы
За волю, честь родной страны.

Он вместе с нами в наступленье
Шел через все преграды вдаль,
Познав победные волнения,
Военных неудач печаль.

Он с нами на походных тропах
Был у солдатского костра
И ночи коротал в окопах
В беседе теплой до утра.

Он с нами отдыхал в землянке,
Чай из жестяной кружки пил,
У раскалившейся времянки
Шинель походную сушил.

Душою слушал наши песни,
Он вместе с нами писем ждал.
И словом пламенным, чудесным
На подвиги нас вдохновлял.

Он с нами у могилы братской
Склонялся мудрой головой
И орошал усы солдатской
Скупой, непрошенной слезой.

Он нашу радость сердцем мерил,
Улыбкой светлою лучась,
К победе звал, в победу верил,
Учил в победу верить нас.

Когда усталость прижимала
К земле, к холодному кусту,
Сном кратким забываясь, знали—
За нас стоит он на посту.

И верность честную, сыновью,
Несли солдатские сердца,
И всей душой и всею кровью
Ему служили до конца.

Мы знали — через все лишения
За нашим другом и вождем,
Когда настанет час свершенья,
К победе радостной придем.

Мы знали — будет вновь хрустален
Над нами чистый небосвод,
И вновь родной, любимый Сталин
На труд, как в бой, нас поведет.

Август, 1943 г.
район Ельни.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Ветер гонит
Над полем померкшим поземку,
Злится, свищет
В исхлестанных вьюгой кустах.
Над окопами
Серою тьмой опустились потемки,
И бескрайняя ночь
Наплывает на нас в облаках.

Тишина...
Вот в угрюмую темень
Вонзилась ракета,
(Расступилась,
Растаяла плотная,
Вязкая мгла),
И холодным мерцаньем
Дрожащего, зыбкого света
Снеговые равнины,
Окопы,
Кусты залила.

Вновь темно...
Заползает мороз под фуфайку.
Ветер тихо подкрался,
Ветвями кустов зашуршал.
И промерзшие листья,
Как птиц перепуганных стайку,
Вскинул,
Взвихрил
И в сумрак холодный погнал.

Шарит в небе прожектор
Гигантской рукою
И во тьму упадает,
Становится глуше, темней.
К облакам вдруг цветистою,
Яркой строкою
Протянулася трасса сверкающих,
Острых огней.

Ухнул глухо разрыв.
Пулеметная скороговорка
Пробежала во мгле.
И опять тишина... тишина...
А поземка дымит,
Расстилаясь от пригорка к пригорку,
И в просвет облаков
Заглянула поспешно луна.

Ночь долга.
Время будто замерзло, застыло
И лежит неподвижно
В упругом и мутном снегу...
Тишина...

Только в сердце моем
С нарастающей силой
Бьется ненависть —
Ненависть правды к врагу.

Мы пройдем до конца
Испытаний дорогой кровавой.
Справедливое дело возмездья,
Расплаты творя.

...Ночь уходит.
Как предвестник победы,
Овеянной славой,
Загорается ярким узором заря.

Январь, 1943 г.
под Ржевом.

ПОСЛЕ БОЯ

Безжизненная тишина
Плывет над мертвым,
Рваным перелеском,
И кажется земля оглушена
Разрывом бомб
И пулеметным треском.
В молчании задумчивых лесов —
Израченных, истерзанных,
Разбитых, —
В ветвях, грозой весеннею омытых,
Не слышно звонких птичьих голосов.
Надолго здесь умолкли соловьи,
В деревья дятел клювом не стучится.
Лишь по ночам сторожка муравьи
Выходят одиночками трудиться.
И в чаще леса ловко не прыдет
Паук воздушной, легкой паутины.
Война на все печать свою кладет,
Страшны войны жестокие картины.
Но человек пришел.
Смириться он не мог
С покоем смерти. Нового рожденья —
Курится над землянкою дымок.

Май, 1943 г.

Вязьма.

* * *

Гостеприимна тесная землянка.
Дымится фитилек в консервной банке,
Прикрытый сумраком со всех сторон.
Печурка пышет хмельностью угара.
Мы торопливо падаем на нары —
Без сновидений будет краткий сон.
Бывают на войне часы такие,
Когда лишенья, горести людские —
Все забывает. Заполняет грудь
Одно желанье: только б отдохнуть.
Чай не допив, не докурив махорки,
Скорей, скорей — где попадет прилечь.
И как пропитанную потом гимнастерку,
Усталость сбросить с утомленных плеч.

Покажется измятая солома
Так необычно-ласкова, мягка.
В минуты эти вдруг издалека
Повеет теплым ароматом дома.
И пропадает сон желанный вдруг,
И исчезает тяжкая усталость.
Почувствуешь объятья теплых рук
Той, с кем надолго в эти дни расстались.
Закончен отдых. Полный силы снова
Идешь дорогой трудною войны,
Чтоб наяву тепло родного крова
Нас обогрело, как согрели сны.

Апрель, 1944 г.

Маево.

ПАМЯТЬ

Другу и товарищу И. Л. Альтману

И будет так: когда опять
Заноют раны к непогоде,
Мы будем снова вспоминать
Военных испытаний годы.
Года лишений и утрат,
Года мечтаний и страданья,
Вновь оживут, заговорят
Поблекшие воспоминанья.
И мысленно опять пройдем
Дорогой боевых походов,
Следы былых боев найдем
Под пеленою сочных всходов.
Мы вспомним: счет теряя дням,
Мы радостей так мало знали,
И строки редких писем нам
Объятья милых заменяли.
Мы научились не делить
Сознанье с чувством в громе боя,
В боях собой не дорожить,
За друга жертвуя собою.
В траншеях стыли под дождем,
Нас заметало злой метелью.
Нам часто заменяли дом
Палатка с мокрою шинелью.
Нас мчал вперед войны поток:
Боролсь, мучились, любили!

Сухарь промерзший, кипяток —
Каким тогда блаженством были!
Сквозь испытанья пронесли
Надежд несокрушимых знамя.
И столько сил в себе нашли,
Что удивились им и сами.
Нам было трудно! Все равно
Те дни с волнением помянем,
И на прошедшее давно
Спокойно, умудренно взглянем.
Да, испытанья тех годин
Нам крепко закалили души.
Пусть больше на висках седин,
Пусть сердце бьется тише, глуше,
Нам все ж покажется тогда
Туманный небосвод яснее,
Приятней свежая вода
И черный черствый хлеб вкуснее,
Душевнее пожатые рук
При встрече и при расставаньи,
Еще вернее прежний друг —
Соратник боевых скитаний.
И пусть приходит старость, пусть!
Мы скажем, отгоняя грусть:
Жизнь не напрасно мы прожили,
Мы честно Родине служили!
Да, будет так — когда опять
Занеют раны к непогоде,
Когда мы будем вспоминать
Военных испытаний годы.

Июль, 1945 г.
Монголия. Чойбалсан.

ВСТРЕЧА В ПУСТЫНЕ

Горьковатый дымок аргала
Поднимается от костра.
На кошме, с монголом усталым
Коретаю ночь до утра.
Над пустынным, глухим простором
Ярко звезды большие горят,
И застыл, с задумчивым взором,
Спутник мой, седовласый арат.

Знойный ветер, морозы пустыни
Лицо его обожгли.

И следы кочевий — морщины
Жесткой вязью на лоб легли.

И друг друга мы угощаем.

Пил я крепкую с ним архи.

Наслаждаясь кирпичным чаем.

Я читал о войне стихи.

Слушал он внимательно-зорко

О победных боях слова.

Не дымилась трубка с махоркой,

В такт склонялась его голова.

Но когда произнес я — Сталин,

Старик радостно задрожал,

Неожиданно быстро встал он,

Крепко руки к груди прижал.

И глаза его светлое счастье

Волненьем наполнило вдруг...

Имя Сталина часто-часто

Повторял мой случайный друг.

Что он мне говорил — не знаю,

Но в пустыне, от всех вдалеке,

Зазвучала речь, как родная,

На понятном мне языке.

Утром рано с аратом расстался,

Я с ним больше не встречусь, нет.

Но в душе навсегда остался

Этой ночи глубокий след.

Сентябрь, 1945 г.

Араджар Голант-Хид.

Б. Горбунов

САПОЖНИК

Иван Кузьмин никому не сказал, что в «гражданке» работал сапожником. Правда, на дне его вещевого мешка в рямочке были заботливо завернуты нож, шило, дратва, возди и молоток, но все это он захватил про запас, на всякий случай. Кузьмин любил свое ремесло, но не хотел отживаться где-нибудь в мастерской интендантства. Вот почему, когда его спросили о гражданской специальности, он, не долго думая, ответил:

— Пишите — разнорабочий!

Вскоре Кузьмина назначили вторым номером при станковом пулемете. Он старательно изучал «Максимку» и уже представлял себе, как в будущих боях он добросовестно прострочит из него по врагу.

Но однажды утром на занятиях по физподготовке у лейтенанта Иванова, прыгнувшего неудачно через барьер, оторвался каблук. Лейтенант долго хромал на одном каблучке, а в перерыв спросил бойцов:

— А никто из вас сапожным делом дома не занимался? Кромать надоело, а мастерская полка далеко, время терять жалко.

Иван Кузьмин смущенно опустил глаза, порозовел, но промолчал:

«Делов-то тут на копейку, — подумал он, — а из-за сакого-то каблука с пулеметом можно распрощаться...»

— Значит, никого нет сапожников? — снова спросил лейтенант, — жаль. Придется в другие роты адреснуться. У меня в роте, видать, больше людей, которые в гражданстве ишь да брось работали, разнорабочими.

Кузьма заерзал на месте, крякнул, но опять промолчал. Последние слова лейтенанта задели его за самое сердце.

— Это я-то разнорабочий? — думал он, — я, который

модельную дамскую обувь на-дому делал. Да мне твой каблук — раз плюнуть.

— Ну, что ж, придется похромать до вечера, — сказал лейтенант и, закурив, отошел к командирам взводов.

Кузьмин еще немного поколебался. И тут он почувствовал, что любовь к пулемету куда-то отошла на задний план: заговорила профессиональная задирчивость мастера.

«Это я-то разнорабочий, — думал Кузьмин, — нет, брат, шалишь...»

Он встал и, подойдя к Иванову, сказал:

— Товарищ лейтенант, при бойцах я постеснялся сказать, что я малость маракую в сапожном деле. Справлю я вам каблук.

— А инструмент?

— Инструмент есть у меня. Из дому захватил на всякий случай. Мало ли чего в пути с обувкой сделается. За всяким пустяком в мастерскую не побежишь. А потом есть такие сапожники, которым я лапоть не доверю, не то ли что сапоги... Разувайтесь. Я мигом каблук справлю.

В пылу Кузьмин даже не заметил, что каблук был прибит им слишком скоро и хорошо. Об этом он подумал лишь вручая сапог лейтенанту.

— Что ж, товарищ Кузьмин, — сказал лейтенант, — такие золотые руки, как у вас, нужно по специальности использовать. Пулемет, видимо, придется вам временно отставить. Пойдете завтра в распоряжение начальника ОВС. Будете работать в сапожной мастерской полка. Ясно?

— Ясно-то ясно, только как же с пулеметом? Привык к нему...

— Пулеметчика мы на ваше место обучим, а вот сапожников нам сейчас некогда готовить. А на дворе — осень. Идите.

— Есть итти, — ответил Кузьмин. Четко повернувшись, он отошел три шага, а потом сплюнул с досадой и зло проговорил:

— Дурак! На чем срезался? На каблуке!

Наутро Иван Кузьмин стоял перед начальником ОВС солидным, устало глядевшим техником-интендантом.

— Прибыл в ваше распоряжение, товарищ начальник. Только разрешите доложить — временно.

— Это почему же «временно»?

— Обжаловал я перевод к вам... Не затем я шел в армию, чтобы сапожником быть. Мое место на передовой, пулеметом.

— С пулеметом на передовой? Похвально! — сказал индентант, покрутив большие рыжеватые усы. — Только если все с пулеметами станут, то кому же сапоги-то чинить доганется? А ведь они рвутся, в том числе и на вас, пулеметчиках...

Через неделю, убедившись, что Кузьмин мастер первой руки, начальник послал его с походной мастерской на передовую. Провожая, он напутствовал Кузьмина:

— Ну, надеюсь, что работать вы там станете по-фронтовому, честно.

— Есть, по-фронтовому!

Согласно маршруту попал Кузьмин сначала в роту пулеметчиков. Не прошло и двух дней, как у всех бойцов сапоги были аккуратно залатаны. Сначала кое-кто подшучивал над ним в роте:

— Уж очень у тебя, вояка, грозно оружие-то... Шило да долоток.

Но Кузьмин добродушно отшучивался:

— Наше дело мастеровое. Я когда еще в армию шел, так явил начальству, что раз, мол, воевать, так всерьез; как педует.

— Ты в свободные минуты хоть пулемет изучай, все пригодится при случае, — говорили ему другие.

— Да постараюсь, кое-что узнаю от вас, — отвечал Кузьмин. — Уже одну часть я усвоил — кожухом называется. Схожая она с моей специальностью. Как-нибудь и другие запомню.

— У тебя, браток, память какая-то особенная, удивительно, — говорили бойцы Кузьмину, — тебе бы не сапожником быть, а пулеметчиком.

Но Кузьмин снова отзывался шуткой:

— Память у меня, ребята, врожденная. В нашем роду все такие. Читал, может, кто из вас, есть у писателя Чехова рассказ про сапожника, про Ваньку Жукова. Так это мой дядя. Тоже был смышленный. Даже Чехов — и тот им заинтересовался и описал.

На передовой жили обычной жизнью. Минуты затишья менялись часами горячих перестрелок и жарких атак. Но Иван Кузьмин одинаково хладнокровно переносил все это, казалось, он не замечал ни стрельбы, ни суматохи окопной жизни. Сидя на зарядном ящике в углу блиндажа, он лапал обувь, а когда становилось особенно шумно, начинал петь свою любимую песню: «Хаз булат удалой...». Когда стихала военная непогода, бойцы временами спрашивали Кузьмина:

— Глядим мы на тебя и диву даемся. Кругом крошечный ад, а ты сидишь, как все равно до войны в мастерской, и даже песенки попеваешь. А вдруг убьет?

— Не должно. Мы, сапожники, народ счастливый. Смерть до нас не прилипчива.

За день до того, как перейти в соседний минометный батальон, сидел Кузьмин и, не торопясь, сапоги комбата на новую колодку перетягивал. Кругом стрельба шла. С утра немцы к атаке готовились. Чтобы заглушить шум, пробовал Кузьмин «Хаз булат» петь, но на этот раз плохо помогало. Фрицы минометы в ход пустили, и те заглушали песню своим визгом. Справа и слева от Кузьмина, захлебываясь, трещали пулеметы. От длинных очередей из кожухов даже пар валил. Видя это, Кузьмин кричал вторым номерам:

— Эй, голуби, подлейте водички-то, а то и «гости» еще к окопам не подошли, а у вас уже самовары выкипели.

Вдруг Кузьмин заметил, что у левого пулемета второй номер как-то странно взмахнул руками и упал.

— Убит, — понял Кузьмин.

Он быстро отложил на бруствер сапоги и подбежал к первому номеру.

— Ленты подавай, — хрипло крикнул тот, — давай, суй в приемник. Вот сюда. Гляди, куда показываю...

— Знаю, — спокойно ответил Кузьмин, — кого учишь... Ты знай огонь-то веди лучше.

— Смотри, как целиться надо, — снова сказал пулеметчик, — а то может одному придется огонь вести...

— Тоже знаю, — на этот раз огрызнулся Кузьмин, — думаешь, один ты на свете пулеметчик, а все остальные... сапожники.

Вправо взвизнула мина. Раздался взрыв. Кузьмин плотно прижался к земле. Когда он поднял голову, оба пулемета молчали. Первый номер лежал рядом. Из-под ремня его гимнастерки сочилась кровь. За вторым пулеметом был убит весь расчет. Сначала Кузьмин растерялся. Но услышав совсем рядом чужую речь, увидев зеленые мундиры немцев, он быстро пришел в себя и, стиснув зубы, прилетел за пулемет. Первая же очередь удалила чужие голоса. Тогда он выпустил вторую, третью... Видя, как оставшиеся в живых немцы удирают, чувствуя, что времени на заправку новой ленты нет, Кузьмин быстро отбежал ко второму пулемету и со всем старанием прострочил по цепочке убежавших. Он видел, как цепь редела, как зеленые мундиры падали и сливались с травой. Цепи уже не было. Бежали лишь

отдельные солдаты, а Кузьмин все поливал их из горячего, захлебывающегося пулемета. Когда все ленты вышли, Кузьмин неторопливо встал на колени, отряхнулся, вытер рукавом вспотевший лоб и тут только заметил, что в углу блиндажа стоял командир батальона. Кузьмин быстро встал, подтянулся и четко отрапортовал:

— Разрешите доложить, товарищ капитан, правый сапог готов, а левый немного недокончен. Немцы помешали!

ПОВАР

За короткий срок пребывания в роте Фрол Пузырьков прославился не как повар, а как несусветный путаник. Он так долго путался с приготовлением пищи, что бойцы из-за него разучились даже узнавать время суток. Завтрак у него поспевал лишь к обеду, обед — только к ужину, а ужин едва был готов к завтраку.

— Ты своим распорядком дня скоро не только нас, а солнышко запутаешь, будет оно всходить по ночам, а заходить утром, — говорили бойцы Пузырькову.

Суп он зачастую варил несоленый, а кашу пересаливал. Макароны у него всегда пригорали, а щи от холода превращались в студень. Но и тут он находил себе оправдание:

— Все вам невкусно, а сами понятия не имеете, что такое вкус. Знаю я, чего вы любите! Вам бы только в котелки побольше налить, да погуще, да еще добавку отпустить больше самой порции. Знаю я вас, тоже мне критики нашлись... Врач пробу снимает, не брезгует, а вам все не так. А он — ученый! Да и супов он за свою жизнь больше вашего пере-пробовал.

Когда Фрола Пузырькова прогнали с кухни, он монотонно твердил каждому встречному:

— Что с работы сняли, это меня мало тревожит, одно обидно: не пойму — за что? Я ли не кормил своих хлопцев. Да ведь редки бывали те дни, когда бы ребята не выливали чуть ли не все из котелков, прямо не отходя от кухни. А отчего? Закормлены были! Правда, кое-кто заявлял мне, что выливают якобы потому, что невкусно сварено. Чепуха! Ни в жизнь не поверю! Врач пробу брал? Брал. Вот почему за снятие с кухни я не тревожусь, одно обидно — не пойму за что?

Когда Пузырькова отправляли в строевой отдел, он встал в кузове грузовика, снял шапку и крикнул:

— Прощайте, хлопцы! Помните кулинара Пузырькова.

— Помним, — ответил один из бойцов, — одно жалко: уезжаешь ты не во время — днем. Проститься как следует не удастся. А то бы мы тебе на дорожку и битки дали.

На утро все в роту узнали, что на кухню пришел новый повар. Почти никто его не видел в глаза, не знал имени и фамилии, однако многим он сразу понравился. Завтрак на передовую прибыл точно по распорядку дня, горячий, вкусный и питательный. Все с любопытством ждало обеда. Но и он был тоже доставлен в срок и съеден по общему одобрению. Ужин опять пришелся по вкусу. И тогда все спокойно заявили:

— Хороший у нас повар. Боевой. Знает, когда и как подкрепление дать бойцам. Молодец!

Новый повар Иван Климов был веселый и разговорчивый мужчина средних лет. Он был широк в плечах, поэтому казался низким, несколько даже квадратным. В шутку бойцы его даже прозвали «кубиком».

В первый же день пришел Кубик к командиру роты и весело заявил:

— Принял я кухню, товарищ капитан. Работать у вас можно, продуктов горы, хоть ресторан открывай. Есть чем бойцов побаловать. Можно такое меню составить, что по объему преysкyрант не уступит наставлению по стрелковому делу. Но у меня к вам кое-какая просьба имеется... Разрешите высказаться?

Иван Климов, не торопясь, по порядку рассказал капитану, что бы он хотел иметь у себя, будучи, как он выразился — начальником пищеблока. В первую очередь он попросил держать кухню не за пять километров от передовой, ближе. Под нее он предполагал оборудовать специальную землянку, а рядом с ней устроить склад для продуктов.

Капитан утвердительно кивнул головой.

— А еще просил бы вас ознакомить меня с путями наступления нашей части и с дорогой к передовой. Ну, а местность я сам в процессе работы изучу, чтобы скорее можно было найти удобную стоянку для кухни, а также скрытые пути подхода к окопам.

Капитан довольно улыбнулся и сказал:

— Все сделаем, только работайте по-фронтовому.

Когда Иван Климов ушел, капитан подошел к политруку и весело сказал:

— Слышал, Яковлевич, каков у нас новый повар? Теоретик!

Через неделю командир роты навестил своего нового повара. В километре от передовой под кухней была оборудована просторная землянка, приятно пахнущая сосной. Рядом с ней находился продуктовый склад. На чистой клеенке был аккуратно уложен хлеб. В белых фанерных ящиках лежал лук. На сухих обструганных досках был рассыпан картофель. Под мешками с крупами и мукой были подложены бревнышки.

— Как у хорошей хозяйки, порядок, — подумал капитан. Ему хотелось сделать какое-нибудь замечание Климову, но зоркий и придирчивый взгляд старого командира ружьем видел лишь порядок и чистоту. Чтобы можно было быстро приготовить пищу на марше, при кухне лежал запас сухих березовых дров. Вонючая засаленная посуда, которую капитан в раз видел при Пузырькове, сейчас блестела чистотой.

Бойко раздавая пищу прямо на передовых, ловко лазая по-пластунски с термосом за плечами по окопам, ухарски подвозя пищу под огнем противника, Иван Климов вскоре стал близким человеком для каждого бойца. Его знали все, и он мог каждого в полку окликать по фамилии. Однажды вечером группа бойцов ушла разведывать ближний тыл противника. Утром они предполагали вернуться. Но наступило утро, а разведчиков не было. Только на утро следующего дня, усталые, продрогшие, проголодавшиеся, вернулись бойцы обратно. Не успели они подойти к своей землянке, как навстречу им вышел Иван Климов с термосом за плечами.

— Явились! А я-то вас заждался... Кушать пожалуйста.

Каким аппетитным казался разведчикам в этот раз обед, каким ароматным, густым чай, родным человеком сам повар.

После этого случая все в роте были твердо уверены, что Климов никогда и никого не оставит без еды.

Однажды около кухни Климова разорвался снаряд. Взрывной волной его отбросило в овражек. Торопливо отряхнув с себя землю, он вновь очутился около кухни и, не обращая внимания на контузию, начал старательно заделывать дыру в котле, пробитую осколком, через которую жирные, совсем готовые щи текли на землю. Видевшие это бойцы кричали Климову:

— Ваня, подожди малость трудиться, а вдруг второй снаряд по тебе бабахнет.

— Снаряд не страшен. Страшно на передовую опоздать. Там меня в окопах свои ребята ждут.

Быстро заделав котел, он галопом выехал на передовую минута в минуту доставил обед в окопы.

— Не повар ты у нас, а Спасская башня. Хоть часы п тебе проверяй! — говорили Климову бойцы. Утром, посл завтрака, когда Климов, не торопясь, чистил картошку, его вызвал командир роты. И по тому, с какой поспешностью прибежал посыльный и по выражению лица капитана Климов сразу понял, что вызвали его по серьезному и неотложному делу. Предложив повару сесть, капитан нервным измял в лепельнице только что закуренную папиросу строго сказал:

— Наши минометчики очутились в полуокружении. Единственную дорогу, по которой еще можно держать с ними связь, немцы секут пулями и снарядами... Но вот именно по этой дороге вам и надо пройти к минометчикам. Работают они третьи сутки геройски, как настоящие русские солдаты. Но у них нет ни пищи, ни воды. Приказываю вам, хоть по землей, а проскочить к минометчикам! Ясно? — Климов утвердительно кивнул головой и, встав, спокойно спросил:

— Разрешите выполнять приказание?

Из трубы походной кухни мелкими колечками вился серый дымок. Под сиденьем мирно позвякивало ведро с водой. Что-то тихо напевая, Климов торопил пегую низкорослую лошаденку. Она спешила, спокойно помахивая хвостом. Не едва только скрылась из глаз деревня, как из-за высокого перистого облачка вынырнул самолет. Он ходко снижался и когда на крыльях ясно забелели кресты, с самолета отчетливо затрещал пулемет. Климов машинально хлестнул что есть силы вожами по лошади, низко пригнулся, хорошо понимая, что ни то ни другое не спасет его от вражеской пули. Ведро под сиденьем гремело громче, временами заглушая неприятный визг пуль. Но роща, в которую скорее хотел въехать Климов, все еще была далеко. Она заманивала дразнила взор своей густой зеленью.

Пригнувшись, он совсем перестал смотреть за котлом, ведь в нем лежала хорошая, румяная, масляная гречневая каша.

— Пригорит, — озабоченно думал Климов. Это беспокойство так захватило его, что он переставал даже слышать прерывчатый гул вражеского мотора, сухие пулеметные выстрелы. Когда зелень рощи укрыла его, он остановился и поспешно начал перемешивать кашу.

В этот момент поблизости разорвались сразу три бомбы, чуть не засыпав землей открытый котел. Снов

пехав на поляну, Климов пристально посмотрел в небо. Самолет быстро набирал высоту, становясь все меньше.

— А кашу я все-таки довез! И даже без твоей окаянной мляной приправы! — торжествующе сказал Климов в сторону уже невидимого самолета. И в этот момент сбоку он услышал веселый знакомый голос:

— Ребята, гляньте! Кашеет едет!

...Видя, как бойцы жадно и с аппетитом едят кашу, пьют еще холодную ключевую воду, Климов, добродушно улыбаясь, говорил:

— Задержался я малость, ребята, сегодня с кашей. Но причина уважительная. Фриц очень долго пытался пробу снять.

Накормив родную братву, Климов полюбовался с минуты на минуту их точную работу, похвалил за стрельбу и, бросив для частию одну мину в ротный миномет, тронулся в обратный путь.

В. Жуков

СТАРЫЕ ОКОПЫ

О нас не зная, их давным-давно
Здесь вырыли Суворова солдаты...
Осыпав гравий, камень угловатый
Разрушил стенку и упал на дно.

И с той поры у поседелых скал
Старел окоп, мелея год от года.
Над ним зимой трубила непогода,
Весной пливун обвалом угрожал.

Светясь, в потемки отступали дни,
Стиралась даты. Зарастали тропы.
Душой благоговея перед ним,
Мы подходили к старому окопу.

Свидетель грозных и седых времен,
Он вновь готов был послужить солдату...
Кровавый бой, что здесь кипел когда-то,
Сегодняшним огнем был озарен.

РИСУНОК

Любимая! И у карпатских скал
С утра дымит российская пороша.
А на окне мороз нарисовал
Сосновый бор и тысячу дорожек.

Под переплетом — небо и стрижи,
Внизу — сугроб и улица родная...
В чужой земле весь день рисунок жил,
О родине нам всем напоминая.

Потом рисунок снегом занесло.
Лишь вечером он стал прозрачно-
синий...

И мы с тоской смотрели на стекло
И уносились мыслями к России.

НАЧАЛО

Был снег по плечи... Я и не заметил,
Когда впервые запахом земли
В лицо пахнул мне беспокойный ветер,
И на березах почки отошли.

И полушубок сразу стал ненужен.
Невесть откуда взявшись, на тропе
Заголубели, зачернели лужи.
И обвалились стенки на НП.

И запестрели рыжие пригорки
И проволока на земле ничьей.
На песню от простой скороговорки,
Меня краски, перешел ручей...

И корочку листовы едва осилив,
Ко мне в окоп головку наклоня,
Раскрыл глаза подснежник бледносиний
И изумленно смотрит на меня,

На гильзы и на брошенные банки...
Осуществляя план своих надежд,
Мы этой ночью откопали танки
И выкатили пушки на рубеж.

Нам очертела нудная зимовка,
Коптилок чад и лабиринт траншей,
И выстрелы из снайперской винтовки
С чужих, проклятых, близких рубежей.

В бездействии давно изныли души,
Ждя наступленья, как войны конца...
Шипя и воя, грянули «катюши»,
И в ожиданья замерли сердца.

ЗОВ РОДИНЫ

Вчера ножом с шинели счистив глину,
Я из окопа вылез и по склону,
Забыв войну, спускаться стал в долину
На отдых ко второму эшелону.

Весь снег с горы согнало к той минуте,
И ручейки, спеша, стремились мимо...
И стали резкими на талом грунте
Следы-воронки от разрывов минных.

Землею, талым льдом и ветром мая
Пахнуло так, что, опьянев, на камень
Я сел. И, ничего не понимая,
Стал робко трогать веточку руками.

Все запахи земли перебивая,
От рук моих березовым настоем
Запахло... А березка, оживая,
Напомнила мне самое родное!

Пусть крест тяжел и труден подвиг ратный
На обгаренных кровью горных склонах.
Я с камня встал и повернул обратно
К окопу от второго эшелона.

А на рассвете, не дождавшись знака,
Внимая зовам молодого ветра,
Поднялся я, разгневанный, в атаку,
И к родине стал ближе на сто метров.

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ

Седой гранит, где тропы пролегли,
Хранит следы российской ратной славы.
Туман осел росинками на травы
И обернулся песней у земли.
Как девушки стыдливы и стройны,
С горы сходили тонкие березы.
Далекий край, где вьюги и морозы,
Тоскуя, смутно помнили они.
Но, различив военные огни,
Навстречу нам — спешат, спешат по скату...
Там, где прошли Брусилова солдаты,
Во славу внукам выросли они.

МАТЬ

Скрипел сверчок в трубе печной.
Гудела танками дорога.
А мне приснился дом родной
И мать старушка у порога.
Все ждет, родимая, все ждет.
Но бесконечны дни разлуки.
Прошел военный. — Сын идет...
Но нет, не он. Скрестила руки...
И не звать ее домой,
Весь день стоит под хатой низкой:
— А вдруг да запоздает мой, —
Ему с Карпат итти не близко...

В. Зимина

СЫН

Упругой маленькой ручонкой
Он солнца луч ловил в окне,
Смеялся радостно и звонко
Навстречу ветру и весне.
Упрямо лоб наморщив белый,
Считал задорных воробьев.
Глядел, как грач усердный, смелый
В ветвях березы строил кров.
Гонял со смехом обруч тонкий,
Следил за бронзовым жуком,
Кормил заботливо утенка
Найденным где-то червяком.
Он все отыщет, все заметит,
Узнает «как» и «отчего»?
Как две звезды, приветно светят
Глаза пытливые его.

ЛЕС

Строго насупились ели зеленые,
Словно в раздумьи о чем-то своем.
Иней украсил кусты оголенные,
Вьюга завывала над спящим ручьем.
Тихо в лесу. Все поляны заботливо
Вьюга покрыла снегов пеленой.
Узкой цепочкой темнеют отчетливо
Чьи-то следы на опушке лесной.
Шумно уселась на ель тонконогую
Стая щебечущих дерзких клестов.
Пламенный снегирь вспорхнул над
дорогою,

Ярким цветком промелькнул средь
кустов.

Изредка выглянет солнце несмелое,
Выйдя из плена свинцового туч,
Словно зажжет, оживит поле белое
Зимний неласковый солнечный луч.

* * *

Весны идущей нежное дыханье
Над миром с каждым днем все горячей.
Проснулся лес и с робким трепетаньем
Ждет солнечных живительных лучей.
Звенят ручьев немолчных вереницы.
В просторах голубых — веселый гам.
Спешат на север радостные птицы
К далеким оживающим лугам.
Белеют верб пушистые сережки,
Жужжит сердито первая пчела,
Листвой покрыты влажные дорожки,
Струится сок из теплого ствола.
Весна идет знакомыми местами,
Покрылись первой зеленью леса.
Расцвел подснежник синий под кустами,
И всходами покрылась полоса.

П. И. Галкина

Кандидат исторических наук

ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА В ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

Трудящиеся города Иванова унаследовали от своих старших поколений революционный дух, революционную стойкость и активность. Эти революционные качества ивановцев передаются из поколения в поколение и проявляются в великих делах и событиях как серьезная прогрессивная движущая сила. Это и есть сила революционных традиций. Их ивановцы хранят и чтут. Воодушевленные этими традициями, они сражались на фронтах гражданской войны и пронесли Красное знамя ивановских ткачей от столицы «ситцевого царства» через Сибирскую тайгу до Китайской границы и через Сиваш и Украину до польских рубежей.

В дни Великой Отечественной войны сила этих традиций удесятирала энергию ивановцев на фронте и в тылу—на производстве, породив героев бойцов и героев производственников, удостоенных высших правительственных наград.

Город Иваново — центр текстильной промышленности СССР. Уже в XIX в. его именовали «Русским Манчестером» или «Ситцевым царством». Особенностью Ивановской текстильной промышленности было ее национальное и даже местное происхождение. Фабриканты и промышленный капитал были здесь доморощенными. Среди ивановских фабрикантов не встречалась ни одна фамилия вьезжего иностранца.

Это были в большинстве своем потомки выбившихся в фабриканты крепостных крестьян графа Шереметева, в наследственном владении которого находилось село Иваново.

В том, что ивановские фабриканты были потомками крепостных, ничего отрадного для рабочих не было. Все фабриканты — Зубковы, Поллушины, Гарелины, Гандурины и др. сочетали на своих фабриках капиталистическую систему извлечения прибыли с унаследованными от своих дедов—первых фабрикантов — хищническими, полукрепостническими формами и методами эксплуатации, вплоть до непосредственного вмешательства в личную жизнь рабочих.

Город Иваново-Вознесенск к началу XIX в. имел на редкость упрощенный социальный состав населения. Здесь рельефно выделялись пролетариат и буржуазия. Как нигде, они здесь резко разделялись «на два больших враждебных лагеря, на два больших, стоящих друг против друга класса» (Маркс—Энгельс. «Коммунистический манифест»). Социальный антагонизм в Иваново-Вознесенске проявляется с необычайной

илой ясности, вследствие чего здесь совершенно не прижились профессиональные примирители этих противоречий—эсеры и меньшевики.

Партийная организация большевиков в Иваново-Вознесенске с момента ее возникновения и всегда была политически единомышленной, а по социальному составу почти исключительно рабочей.

«То видное участие, которое принимали в жизни партии сами рабочие, — писал М. В. Фрунзе, — чрезвычайно удивило и поразило меня». Исторически сложившиеся социально-экономические особенности нашего города сделали Иваново-Вознесенск одним из ярких очагов революционного движения пролетариата всей страны. Рабочее движение в Иваново-Вознесенске началось с 70-х гг. и развивалось далее в нарастающем темпе и масштабе, приобретая революционный характер.

К революционной чести ивановцев следует отметить, что впервые в истории России царское правительство ввело в 80-х гг. рабочее законодательство в результате стачечного движения текстильщиков нашей области и края — рабочих Владимирской, Костромской и Ярославской губерний. Отсюда идут истоки местных революционных традиций, наиболее прочную основу которых заложили исторические события на реке Волге в 1905 г.

Чем дальше мы уходим от знаменательных дней 1905 г., чем значительней наши победы в социалистическом преобразовании нашей страны, тем с большей силой и ясностью выступает значение тех исторических событий, в которых формировалось и развивалось классовое самосознание рабочих и их способность к упорной классовой борьбе.

Начало революционной бури 1905 г. положили события 9 января в Петербурге. Расстрел петербургских рабочих на Дворцовой площади вызвал взрыв могучего протеста пролетариев всей России. Он выразился в противоярительственных демонстрациях и всеобщих стачках в Москве, Ярославле, Вильно, Риге, Харькове, Саратове и других городах. Революционное движение ширилось с каждым днем.

25 января Ленин писал: «Величайшее историческое событие происходит в России. Пролетариат восстал против царизма... Лозунг героического петербургского пролетариата: «Смерть или свобода» эхом прокатывается теперь по всей России. События развиваются чрезвычайно быстро» (Т. VII, стр. 79).

В движение втягивалось и крестьянство. В феврале начались крестьянские волнения в губерниях Курской, Орловской, Харьковской, Лифляндской и др. 23 марта Ленин отмечал: «Начинаются крестьянские волнения. Из различных губерний приходят известия о нападениях крестьян на помещичьи усадьбы, о конфискации крестьянами помещичьего скота, леса, скота... Городское рабочее движение приобретает новое значение в революционном крестьянстве» (Т. VII, стр. 158). В цепи развернувшихся весной 1905 г. стачек и крестьянских волнений исключительную роль сыграла майская стачка иваново-вознесенских рабочих.

История этой стачки и история деятельности созданного в ходе ее совета рабочих депутатов убедительно подтверждают значение революции 1905 г. как генеральной репетиции великого Октября 1917 г.

Причины иваново-вознесенской всеобщей стачки заложены были в системе царского государственного строя, с его бесправием для трудящихся и в системе капиталистической промышленности, с ее безудержной эксплуатацией, особенно хищнической в текстильном производстве. Кажется нигде в мире, — пишет О. А. Вареницова, — не было от такой низкой заработной платы, какую получали владимирские, костромские и ярославские текстильщики, и такого безграничного произвола фабричной администрации, как здесь, при отсутствии каких-либо культурных льгот для рабочих» («Наш край». «Основа», 1926 г., стр. 35).

Организатором и руководителем революционного движения иваново-вознесенских текстильщиков был Северный Комитет, объединявший большевиков Владимирской, Костромской и Ярославской губерний.

В ходе летней стачки из Северного Комитета выделилась Иваново-Вознесенская большевистская организация, которая под конец непосредственно возглавила стачку.

Секретарем Иваново-Вознесенского комитета большевиков был Федор Афанасьев — «Отец». Его квартира, которую он занимал вместе со своим другом С. И. Балашовым на Павловской улице, была местным большевистским центром. Отсюда исходило все большевистское руководство в городе. Здесь неоднократно проводил нелегальные собрания М. В. Фрунзе.

Фрунзе прибыл в Иваново-Вознесенск в начале мая 1905 г., направленный сюда Ярославским комитетом большевиков как революционер-профессионал.

Выдающийся марксист, замечательный агитатор, М. В. Фрунзе быстро занял руководящее положение среди местных большевиков и стал общепризнанным вождем иваново-вознесенских рабочих. Он руководил всем ходом стачки в Иваново-Вознесенске, собирая и проводя для этого конспиративные собрания большевиков на явочных квартирах на Павловской улице, в доме Калашникова, на 2-й Варгинской улице и в доме Голубева на Варгинском переулке (Балашовка).

Местными руководителями иваново-вознесенской стачки были: Евлампий Дунаев, выходец из крестьян с. Лежнева, рабочий проробрищик фабрики Бакулина; С. Балашев — «Странник», личная квартира которого была явкой иваново-вознесенских большевиков; Иван Уткин — «Станко», организатор и начальник местной боевой дружины в 1905 г.; Морозов — «Ермак» — активный борец за свободу, павший в борьбе за нее в октябрьские дни 1917 г. в Москве и с честью похороненный на Красной площади в числе других жертв революции; Федор Афанасьев — один из пионеров русского рабочего движения, погибший в 1905 г. от рук черносотенцев; Ф. И. Самойлов и Жиделев, Михаил Лакин и др. Вот ряд славных имен из числа тех, которые являются примером стойкости и преданности делу рабочих.

24 мая за городом, в лесу, собралась конференция большевиков с участием беспартийных рабочих — представителей фабрик. «По направлению к деревне Черново, — рассказывает один из участников конференции, — 11(24) мая потянулись, в большинстве случаев по одиночке, люди в засаленных блузах, некоторые с подвязанными фартуками, с несмытой на руках краской и чернотой, смеси сала с разной фабричной пылью. И чем дальше эти люди уходили от города, тем заметней становилась их общность. Объединял их пароль».

Участников конференции было 72. Руководил ею т. Фрунзе.

На конференции было решено начать всеобщую стачку. Здесь же были выработаны требования рабочих для предъявления фабрикантам, разработан план ведения стачки и расставлены партийные силы по фабрикам.

Накануне стачки иваново-вознесенские большевики обратились к рабочим с воззванием: «Нехватает больше сил терпеть. Оглянитесь на нашу жизнь, до чего довели нас хозяева! Нигде не видно просвета в нашей собачьей жизни! Довольно! Час пробил... Пора приняться добывать себе лучшую жизнь! Бросайте работу, присоединяйтесь к нашим забастовавшим товарищам. Собирайтесь для обсуждения наших нужд в городе и за городом».

25 мая был солнечный день. В 10 часов утра на фабрике Бакулина внеурочно отрывисто прогудел гудок. На фабричный двор стали выходить огромные толпы рабочих. Их выводил Евлампий Дунаев.

в. На призывный гудок бакулинцев ответили гудки соседних фабрик: Еременова (ныне им. Кирова), Маракушева (НИМ), Куваева (БИМ), Убкова и др. Рабочие единодушно бросили работу и вышли на улицы, ливаясь в один общий могучий поток.

На следующий день стачки бастующие рабочие собрались в центре города перед управой. Полицеймейстер Кожеловский, на глаз определив количество собравшихся, в 3 часа дня телеграфировал губернатору: Сорокатысячная толпа подступила к городской управе. Ведет она себя покойно. Рабочие обещают охранять порядок, но среди них ведется и титания крайних, разбросаны прокламации, остановили работу в желез. одорожных мастерских. Крайне желателен приезд высшего начальства.» (1905 год в Иваново-Вознесенском районе», стр. 86).

Дисциплина и порядок среди бастующих были отмечены справедливо. По воспоминанию одного из участников стачки — «бастующая масса вела себя удивительно мирно и организованно, как будто одной из главных ее задач была задача соблюдать идеальный порядок».

Тем не менее первые шаги административной деятельности местной власти уже в самом начале стачки выразились в просьбе к губернатору «прислать один батальон пехоты». 26 мая Иваново-Вознесенск был объявлен чрезвычайным.

Большевистская газета «Пролетарий» об этом дне писала: «Город в окраинах весь вымер. Тихо, тихо. Воздух чистый, дышать свободно, никому нигде не видно. Трубы безжизненно подпирают небо. Только в центре города перед управой — море людских голов».

Здесь все возрасты — от подростков до стариков. Среди ситцеплетников, одетых в цветные рубахи, мелькали синие блузы и келки матерых, темные рубашки и казинеетовые пиджаки ткачей, пестрые офты и яркие платки ткачих.

Первую речь на первом митинге перед городской управой произнес выдвинувший Дунаев. Взбравшись на живую трибуну из рук и плеч ткачей, в ярких красках, простым образным языком, на конкретных примерах изобразил положение рабочих на капиталистической фабрике, в буржуазном обществе. На смену Дунаеву к месту выступления пробралась фигура плотного рабочего с красивым лицом и пышной шевелюрой. (то-то заметил, что тощие плечи рабочих этого оратора не выдержат, перед управой появилась первая бочка.

На нее поднялся рабочий-заварщик фабрики Грязнова (ныне Сосновской) Михаил Лакин. Он произнес горячую речь и в заключение ее, повернувшись к подъезду управы, вдохновенно прочитал стихотворение Некрасова «Размышление у парадного подъезда». С особенной силой пропал он в массу собравшихся выразительные и волнующие слова поэта о русском мужике в царской России, который «стонет в собственном бедном домишке, свету божьему, солнцу не рад, стонет в каждом духом городишке у подъездов судов и палат». Слова эти глубоко закрепились в душу бастующих рабочих и разжигали в них огонь борьбы против эксплуататоров-капиталистов. Выступали и женщины, среди которых выделялась работница бакулинской фабрики Сакраментова, по кличке «Марта». На площади перед городской управой в присутствии фабричной инспекции и полиции руководители стачки обнародовали выработанные большевистской конференцией требования рабочих. И эти требования всенародно были утверждены «открытой баллотировкой», как отмечали газеты.

Рабочие требовали восьмичасового рабочего дня, установления заработной платы не ниже 20 рублей в месяц для мужчин и женщины, уничтожения фабричных тюрем «кутузок»; требовали права собираться для обсуждения своих нужд и созыва учредительного собрания «на основе

всеобщего, прямого, тайного и равного голосования для всех граждан и гражданок избирательного права». Последнее требование принято «дважды голосованием и поднятием рук» — отмечала прокламация Иваново-Вознесенского комитета РСДРП.

Общественно-политический журнал того времени «Образование», откликаясь на события в Иваново-Вознесенске, писал: «Можно с полным основанием утверждать, что требование созыва Учредительного собрания предъявлено всеми рабочими вполне сознательно».

Наряду с этими политическими требованиями было много элементарных экономических. Но в соединении политической стачечной борьбы с экономической «заклучалась, — как писал Ленин, — не слабость, а сила движения».

Текстильщики предложили фабрикантам вести переговоры по поводу выставленных требований тут же на площади, в присутствии всех рабочих. Фабриканты отказались, находя такую форму обсуждения неудобной и место неподходящим.

Стремясь нарушить единство стачечников, они согласились разговаривать с представителями рабочих в конторе каждого предприятия в отдельности. Смысл этого предложения руководители стачки разгадали, однако предложение о ведении переговоров через выборных уполномоченных признали приемлемым, ибо это в некоторой части было удовлетворением требования бастующих, которое предусматривало создание «постоянной выборной комиссии из рабочих и администрации в равном числе для установления правил внутреннего распорядка и разрешения всех недоразумений между рабочими и администрацией».

26 мая Дунаев предложил рабочим, собравшимся на площади, разбиться по фабрикам и выбрать уполномоченных для переговоров с фабрикантами от лица всех бастующих. Некоторые фабрики приступили к выборам тут же, другие выбирали и в последующие дни на Садовой улице и на Талке. Выбирали по одному представителю от ста рабочих. Всего было избрано 150 человек, из них 46 социал-демократов большевиков и много им сочувствующих. В числе избранных были 23 женщины, из них 7 членов РСДРП(б).

28 мая, на четвертый день стачки, из выбранных уполномоченных была создана еще невиданная доселе массовая организация пролетариата — Совет рабочих депутатов — один из первых в России.

«Нет никакого сомнения, — говорил М. В. Фрунзе, — что Иваново-Вознесенская летняя стачка дала богатейший политический и организационный материал, который после и был надлежащим образом использован при создании Петроградского, а затем Московского и других Советов» («Правда», 1925 г., № 102).

«Мне кажется, — писал Мандельштам—Одиссей, — что самая идея Советской власти зародилась в 1905 году в Иваново-Вознесенске» (Сб. «Текстильщик», изд. «Мир», 1925 г., стр. 376).

28 мая в 6 часов вечера Совет рабочих депутатов начал свою деятельность на Негорелой улице в помещении мещанской управы, как организации местного земского самоуправления, в составе которого было много рабочих.

На это заседание Совета прибыла фабричная инспектура во главе со старшим фабричным инспектором города Иваново-Вознесенска — Сви́рским.

Обращаясь к рабочим депутатам, Сви́рский считал нужным отметить необычайность происшедшего собрания: «Настоящее совещание, — сказал он, — явление новое. Господа депутаты рабочих должны своим спокойствием и деловым отношением доказать свои интересы и тем заслужить одобрение своих товарищей». Предостерегая от политической

борьбы, Сви́рский заявил: «В настоящем заседании место лишь только важному делу—улучшению быта рабочих».

Главным вопросом первого собрания Совета рабочих депутатов был вопрос о передаче требований фабрикантам через старшего фабричного инспектора Сви́рского и выборы председателя и секретаря Совета рабочих депутатов.

По единогласному решению депутатов требования, состоящие из 20 пунктов, были переданы фабрикантам.

С момента организации Совета рабочих депутатов стачке была придана еще большая организованность. Среди рабочих стало популярным слово депутат.

«Если присмотреться ко всему тому, что продельвается здешними забастовщиками, — писала буржуазная газета «Новое время», — то придется к заключению, что здесь забастовкой руководят умелые головы. Здесь видна система».

30 мая фабриканты ответили, что общие требования, предъявленные рабочими и мастерскими ко всем фирмам вместе, заключают в себе и такие требования, исполнение которых вне власти промышленников... Это же касается требований частных, то обсуждение их может быть устроено только с выборами... «и разумеется в помещениях конторы фабрики».

Получив этот ответ, Совет рабочих депутатов решил настаивать на удовлетворении экономических требований, политические же были оформлены в особый документ и направлены в Петербург — министру внутренних дел. Журнал «Образование», комментируя политические требования ивановских рабочих, писал: «Рабочие обнаружили удивительную грезовость в практической осуществимости своих требований. Нигде они не перешли границу возможного, нигде не впали в утопизм». 30 же мая местная власть, опасаясь политических эксцессов со стороны бастующих рабочих, запретила собираться на площади и устраивать собрания в помещениях мецанской управы, разрешив, однако, пользоваться для этого просторами берегов реки Талки, в окрестностях Иваново-Вознесенска.

Одновременно губернатор сообщил командующему военным округом, что «для двух сотен казаков служба непосильна. Нужна еще сотня казаков».

С 1 июня собрания бастующих рабочих почти ежедневно происходили на берегу р. Талки, которая стала центром местных исторических событий 1905 года.

Здесь Совет рабочих депутатов во всю ширь развернул свою деятельность, максимально используя свои полномочия. Он не был просто стачечным комитетом. Он несомненно имел долю власти в городе, с ним влуждены были считаться как с реальной силой.

Фабриканты и представители местной власти неминуемо обращались в Совет рабочих депутатов с просьбой напечатать в местной типографии срочные объявления, разрешить воспользоваться рабочей силой «в случае необходимости переместить материал на фабрике, чтобы сохранить его от порчи и от пожара».

Подобные вопросы Совет рабочих депутатов разрешал немедленно, не нарушая интересов бастующей массы. На время стачки Совет рабочих депутатов постановил все винные лавки закрыть, потребовав от официальной власти выполнения этого постановления, и последняя вынуждена была требование Совета удовлетворить. «И действительно, в городе в это время наблюдался порядок, какого еще не было никогда до забастовки, — пишет Ф. Н. Самойлов. — Не видно было пьяных, не наблюдалось ни драк, ни скандалов, ни азартных игр, которые Совет тоже воспретил».

Как зародыш будущей революционной власти Совет пошел дальше этих мероприятий. Стремясь всемерно сохранить в городе порядок и предотвратить возможные провокации, он учредил свою рабочую милицию. Над городом был установлен фактический рабочий контроль. Вице-губернатор Сазонов не без основания усмотрел в этих нововведениях Совета рабочих депутатов другую власть, действующую параллельно с властью официальной, и эта другая власть парализовала аппарат официальной местной власти и развязывала активность и творческую инициативу масс.

Популярность Совета росла и ширилась с каждым днем. На берег р. Талки стали являться делегаты рабочих от мелких ремесленных мастерских и разных учреждений и даже домашней прислуги, прося защиты от произвола со стороны хозяев.

Развернувшаяся иваново-вознесенская стачка в первые же дни вовлекла в орбиту своего движения рабочих других городов и фабричных селений. 30 мая забастовали рабочие шуйских фабрик, 2 июня началась забастовка в Тейкове, 7 июня в Кохме, вскоре присоединились текстильщики Вичуги, с. Яковлевского и др. Всего в стачке приняло участие 70 тысяч рабочих. Иваново-вознесенский Совет стал центром притяжения. К нему началось настоящее паломничество. Позже по этому поводу М. В. Фрунзе вспоминал: «Майская стачка остановила промышленную жизнь всего района и отовсюду, из самых глухих местечек и сел в Иваново-Вознесенск стекались за советами, инструкциями и указаниями десятки делегаций. Были делегации и от крестьян с жалобами на притеснения со стороны помещиков и разного сельского начальства. Делегатов и ходяков этих «приглашали на заседания совета, выслушивали, давали необходимые указания, а иногда посылали с ними на места кого-нибудь из депутатов или партийных работников для организации стачки». («Иваново-Вознесенск за 10 лет», 1927 г., стр. 25).

Ежедневные собрания на берегу р. Талки превратились в систематическую политическую школу. Фабриканты не без основания называли эти собрания «социалистическим университетом».

Как правило, утром, часов в девять, на берег р. Талки собирались члены РСДРП и депутаты Совета. Они намечали порядок дня, устанавливали темы речей, назначали ораторов, зачитывали и утверждали протоколы предыдущих общих собраний бастующих, давали распоряжения об охране города и указывали меры предосторожности в отношении провокаторов, избирали делегатов с разного рода запросами в городскую думу, к фабричному инспектору и губернатору. Словом, разрешали все вопросы по руководству стачкой и так или иначе связанные с классовой борьбой рабочих.

Вслед за пленарным заседанием Совета рабочих депутатов начиналось общее собрание бастующих рабочих.

Каждое собрание, каждое выступление способствовало политическому просвещению рабочих, открывало им глаза на действительность. Скоро большевики — руководители стачки — стали перемежать митинги и собрания популярными лекциями на разные темы, бьющими в одну цель: «О происхождении и значении красного знамени», «Об исторической роли рабочего класса», «О женщине и революции», «Об истории марсельезы и французских утопистах — Фурье и Сен-Симоне» и т. п. Эти лекции заинтересовывали рабочих в политических вопросах. Здесь же на Талке приобрела права гражданства и печатная агитация.

Еще в начале стачки большевики достали шрифт и установили печатный станок в домике Слитнова по Лежневскому тракту. В этой конспиративной типографии заведующий ею П. Смирнов ежедневно с ловкостью опытного типографа отпечатывал 2—3 тысячи прокламаций. Кро-

из них на Талке читались «Бюллетень совета рабочих депутатов», обещающий ход стачки, «Северный край», «Вечерняя почта» и др. Здесь же производилась фотосъемка депутатских собраний своим фотографом, обязанности которого выполнял депутат совета Царский, гравер-рисовальщик фабрики Гарелина. Благодаря ему для истории сохранились подлинные фотоснимки наиболее важных событий на Талке и полного состава Совета рабочих депутатов.

Словом, политическая жизнь на Талке была ключом.

Даже песни, распеваемые здесь, служили действенным средством политической агитации. Среди стачечников особенно популярны были частушки, направленные против царизма.

На столбе висит корона,
Николай второй ворона.
Представитель всех болванов,
Николай второй Романов,
От Алтая до Дуная
Нет глупее Николая.

Эти далеко несовершенные по поэтической форме и содержанию частушки тем не менее были в цель.

Таким образом стачка иваново-вознесенских текстильщиков приобрела характер массовой политической стачки.

Упорство фабрикантов, не желавших идти на уступки, не нарушило единства и стойкости бастующих текстильщиков, больше того, оно усиливало политическую направленность забастовки.

30 мая агент полиции сообщил в департамент: «Ежедневные собрания на Талке заканчиваются следующими словами: «Да здравствует стачка», «Да здравствует социализм», «Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия», после чего ораторами и многими рабочими — мужчинами и женщинами поются противоправительственные песни».

Большевики, руководители стачки, умело подвели массу от экономических вопросов к вопросам общеполитическим. Местная власть была в страхе. Фабриканты в испуге покидали город, уезжая в Москву или на юг. О том смятении, которое вызвала стачка среди капиталистов, откровенно писал фабрикант Д. Бурыйлин в письме к родственнику: «То, что произошло за три дня, не подлежит описанию. Невиданная картина событий... я лишен кучера, сам кипячу чай, с фабрики последнего сторожа сняли, сам охраняю фабрику. Начальство растерялось. У наших нет единого мнения. Мое частное убеждение — надо поскорей идти на небольшие уступки рабочим требованиям. Нам угрожают непосильные убытки. Две партии непромытого вареного товара преют в котлах, в красивой — мокрые ролики. Мне известно из достоверных источников, что руководители забастовки — люди приезжие, с образованием. Руководят хлестко. Чувствуется в городе двоевластие. Рабочие не хотят договариваться на своих фабриках, выставляют общие требования». (Арх. стдл. Ив. УНКВД, ф. № 16, д. 530, т. II, л. 19).

Автор письма довольно трезво и правдиво анализировал создавшееся положение в Иваново-Вознесенске. 15 июня вице-губернатор Сазонов, встревоженный ходом событий, опубликовал объявление, запрещающее собрания на Талке «ввиду обсуждения на них вопросов государственного значения». Однако рабочие, не взирая на запрещение, собрались на Талке 16 июня в обычное время, числом до трех тысяч человек.

Против рабочих были высланы казаки. Они окружили собрание и потребовали разойтись. Рабочие стояли на месте. Подъехавшему поли-

цеймейстеру Кожеловскому Е. Дунаев крикнул: «Мы ждем здесь ответа фабрикантов на наши требования и отсюда не уйдем». После трехкратного предупреждения Кожеловский скомандовал стрелять. Гулко раздался на Талке первые выстрелы, которые становились чаще и чаще. В результате — среди безоружных стачечников — убитые и много раненых. Расстрел на Талке переполнил чашу терпения рабочих, ненависть их к классовому врагу прорвалась в неорганизованной форме.

Вечером 16 июня в местечке «Ямы» горели ситцевая фабрика Гандуриных и лесной склад Ивана Гарелина. В следующие дни подожжены были дачи городского головы Дербенева, фабрикантов Фокина и Бурлыгина. Разгромлено было несколько винных лавок, повалены телефонные столбы, прерваны телеграфное и телефонное сообщения. Возмущенные толпы стачечников ходили по улицам и избивали попадавшихся полицейских. В эти дни перепуганный мануфактур-советник П. А. Павлов обратился к губернатору с просьбой: «О малой милости — хоть бы казачки проехали мимо моей дачи в Княжеве».

17 июня часть депутатов Совета была арестована. В этот день большевики нелегально собрали оставшихся на свободе депутатов Совета и, несмотря на сильно ощутимый среди стачечников голод, решили стачку продолжать и тем доказать, что воля масс стойко борется за свои требования не сломлена расстрелом.

Безъезд о расстреле иваново-вознесенских текстильщиков вызвала сочувствие рабочих других промышленных центров России. На фабриках и заводах Харькова, Нижнего-Новгорода, на земских собраниях в Твери, Иркутске и Харькове и даже на публичной лекции П. Милокова в Харьковской библиотеке появились сборщики с сумками из красной материи с надписью: «В пользу семей иваново-вознесенских рабочих, жертв 16 июня». Они пропагандировали иваново-вознесенскую стачку как беспримерную по организованности и стойкости и выражали классовую солидарность пролетариата. Денежные средства, поступившие в Совет рабочих депутатов со всех концов России, распределялись между наиболее нуждающимися стачечниками в виде чеков и талонов для получения продуктов в обществе потребителей.

События 16 июня явились наглядным уроком, показавшим пролетариату, что царские войска и полиция защищают интересы капиталистов.

16 июня послужило поводом к смене мирного настроения рабочих боевым. Иваново-вознесенская организация большевиков приступила к созданию боевой дружины и приобретению оружия. Первым начальником ее был преданный делу рабочих Иван Уткин — «Станко».

Совет депутатов и бастующие рабочие продолжали собираться нелегально в лесу. Отряд драгун, появившийся в Иваново-Вознесенске, рыскал по окрестным лесам, разыскивая конспиративные собрания. Так продолжалось около двух недель. Местная власть потом предпочла открытые, легче контролируемые собрания неувольним конспиративным. Стачечникам разрешили собираться опять на Талке. Деятельность Совета рабочих депутатов получила новый размах, вызывая паническую тревогу официальной власти и фабрикантов. 21 июня губернатор, опасаясь революционного взрыва со стороны рабочих, обратился с письмом к иваново-вознесенскому комитету торговли и мануфактуры, пытаясь воздействовать на фабрикантов. «Сим заявляю, — писал губернатор, — что дальнейшее уклонение господ фабрикантов от непосредственных сношений с рабочими послужит вредной во всех отношениях затяжке забастовки и может иметь крайне нежелательные последствия, о чем и предлагаю поставить в известность всех фабрикантов города Иваново-Вознесенска».

В этой телеграмме заметно желание губернатора поступиться интересами отдельных предпринимателей ради сохранения существующего строя, устои которого расшатывались затянувшейся стачкой.

Стачка по продолжительности становилась беспрецедентной. Материальная нужда бастующих вследствие затянувшейся борьбы становилась с каждым днем острее и ошутимей. Чтобы побудить местную власть и фабрикантов на уступки, Совет рабочих депутатов назначил на 23 июня демонстрацию перед городской думой. В назначенный день на площадь явилось около 20 тысяч рабочих. На случай вооруженного нашествия над демонстрантами на площади незаметно размещена была боевая дружина, вооруженная револьверами самой различной системы. Е. Дунаев с трибуны дал знак собравшимся сесть, и многотысячная масса села на камни мостовой и тротуары. Это была грандиозная картина оригинальной сидячей демонстрации перед городской думой.

«Мы не можем дальше вести себя спокойно, — обратился по адресу думы Дунаев, — видя, как голодают наши дети и в то же время как виновники этого голода, наши хозяева, владельцы предприятий, будучи сытыми, не хотят пойти на облегчение наших страданий. Мы больше не можем терпеть этого издевательства».

Появившийся на площади вице-губернатор Сазонов сообщил, что фабриканты не идут на уступки, что он старается влиять на них, но пока безуспешно. Предложив с площади разойтись, Сазонов обещал на другой день все же ответа фабрикантов добиться и прислать его через инспектора Свирского. Рабочие двинулись на Талку. Вступив на Соковскую улицу, они запели песню «Воля» с припевом «пора народу завоевать себе свободу», и тут же над толпой взвился впервые красный флаг. Знаменосцем оказался депутат от рабочих фабрики Грязнова — Иван Спорышев.

После ухода демонстрантов площадь оказалась покрытой кучами булыжника, вырытого руками сидевших рабочих на случай необходимости защищаться. В этот же день, 23 июня, Совет предупредил губернатора, что озлобление рабочих с каждым днем растет, сдерживать их становится труднее и что он слагает поэтому с себя ответственность за последствия. Это заявление Совета было сделано настолько внушительно, что губернатор еще раз телеграфировал фабрикантам и скорей просил, чем воздействующе. Он сообщил, что рабочие настоятельно требуют ответа фабрикантов.

24 июня ответ был доставлен Свирским на Талку, он гласил: «Никакой платы за время забастовки, никаких дальнейших уступок... считаем какие-либо переговоры с депутатами невозможными. Руководясь этим нашим окончательным решением, мы в Иваново не вернемся до начала работ» (1905 год в Иваново-Вознесенском районе, стр. 30). Отрицательный ответ фабрикантов явился искрой, упавшей на горячий материал. Это «нет» — нестерпимо больно ударило рабочих.

26 июня в стачке наступил перелом. В этот день фабриканты Грязнов и Шапов, опасаясь дальнейших событий, согласились на удовлетворение ряда требований рабочих. Они заявили о согласии увеличить заработную плату рабочим, получающим 8—9 руб. в месяц, на 3 руб., получающим 9 руб. 50 коп. — 10 руб. — на 2 руб. 50 коп., и получающим 10 руб. 50 коп. — 12 руб. — на 2 руб., уменьшить на один час рабочий день и удовлетворить ряд требований, относящихся к внутреннему порядку на фабрике. Вскоре другие фабриканты пошли также на некоторые уступки. Рабочим стало ясно, что добиться удовлетворения всех требований не удастся. Между тем на Талке главным оратором стал голод. Средства помощи рабочим в кассе Совета иссякли. Город наполнялся войсками.

15 июля рабочие явились на фабрики, но начавшиеся столкновения с администрацией вновь увлекли их на Талку.

В связи с этим между фабрикантами, находящимися в разных городах, завязалась любопытная переписка, показывающая, какими верну-

лись иваново-вознесенские рабочие после стачки. 17 июля Н. Гарелин в письме к П. Зубову сообщал: «Вчера рабочие принялись за работу, но не дружно и стали заявлять свои претензии. Оставили работу как им вздумалось, вечером побежали на Талку и стали обсуждать свои дела. Видно по моему, что Дунаев старается затянуть забастовку до государственного переворота». (Иванов. обл. архив, переписка фабриканта Гарелина).

Другой представитель фабрикантов В. Гречин в письме тому же П. Зубову писал: «...Вообще теперь все рабочие стали нахальнее, чем раньше. Грязновские мастера, уволенные рабочими, приходили некоторые к рабочим просить, чтобы их оставили на фабрике и давали по 100—200 рублей, но рабочие не соглашались, говоря: «Рожи ваши надоели, глядеть противно». Вообще рабочие стали на фабрике хозяевами, что, конечно, кажется очень странным. Толпа же стала значительно бурнее...» (там же).

Именно в это время в городе стала ходить поговорка: «Фабрика-то Куваева, да порядки на ней Дунаева».

Отмеченное настроение и поведение рабочих усиливало тревогу фабрикантов.

23 июля И. Дербенев из Беликова сообщил: «Вооружаемся, готовимся, чтобы встретить с почетом» и 26 июля он же писал: «Готовимся дать отпор, если придут забастовщики... получили пять револьверов и две нагайки, пожарную машину держим наготове и воды запасли в избытке».

Опасения и явный страх фабрикантов дошел до того, что 20 июля они отправили министру внутренних дел Трепову телеграмму с намеком на просьбу о введении в Иваново-Вознесенское военного положения.

Окончательно фабрики заработали лишь 9 августа. В этот же день Совет объявил о своем роспуске. Однако рабочие и в дальнейшем продолжали считать бывших депутатов своими уполномоченными и при всякого рода конфликтах с фабрикантами обращались именно к ним и через них вели переговоры.

18 августа началась эвакуация войск из города, а вслед за этим и «резэвакуация» фабрикантов, которые, почувствовав себя победителями, стали съезжаться в Иваново-Вознесенск.

Экономические завоевания иваново-вознесенских рабочих в летней стачке были мало существенны. Зарботная плата повысилась на разных фабриках различно, но не свыше 30%, введены квартирные, не свыше 2 руб. в месяц, и улучшились некоторые санитарно-гигиенические условия. Но не этими экономическими результатами измерялся успех всеобщей стачки. Он измерялся выросшей в ходе ее политической сознательностью, организованностью и классовой сплоченностью рабочих. Стачка «показала образец мужества, стойкости, выдержки, солидарности рабочего класса. Она послужила настоящей школой политического воспитания иваново-вознесенских рабочих». (История ВКП(б). Краткий курс, 1938 г., стр. 57).

Ленинская стратегия, соединения экономической борьбы с политической, проявлялась здесь с особенной ясностью. В Иваново-Вознесенской стачке выразилось умение большевиков определять те пути, которые подводили большевистские массы к пониманию большевистских лозунгов, пути, которые давали возможность убеждаться на опыте в правильности этих лозунгов. Иваново-вознесенские текстильщики вернулись с Талки с просветленным классовым сознанием. Именно эта политическая школа, пройденная рабочими в дни стачки, и была необыкновенно ценна для их дальнейшей борьбы. Предприниматели это знали и учитывали.

26 июня на совещании директоров фабрик и представителей местной

власти один из фабрикантов заявил, что требование прибавки в настоящее время уже не является вопросом экономическим «поскольку существует у рабочих талочный университет... с ректором Дунаевым».

«Надо уничтожить это нелегальное учреждение, — обращалась буржуазия к властям, — вырвать руководителей мирным или насильственным путем.

Делать же государство в государстве по меньшей мере не тактично по отношению к власти существующей».

В итоге летней стачки рабочее движение иваново-вознесенских текстильщиков перешло в новую фазу своего развития, выдвинув лозунг вооруженного восстания. Иваново-вознесенская большевистская организация в прокламации, выпущенной 14 июля по поводу прекращения стачки, писала: «Забастовка показала нам также, что добиться политической свободы можно с оружием в руках. Научила она нас, что только тогда, когда мы будем все организованы и вооружены, мы силой можем добиться наших прав, потому и кричим: «Да здравствует вооруженное восстание!».

Переход иваново-вознесенских текстильщиков к этой новой форме классовой борьбы, выдвинутой самим ходом жизни и обоснованной опытом их борьбы, явился подтверждением правильности решения III съезда партии большевиков о вооружении рабочих и реализации этого решения.

Стачка иваново-вознесенских текстильщиков, показавшая большой идейный рост революционных рабочих, подняла трудящихся всех промышленных районов России на борьбу с самодержавием.

«Брожение во всем центральном промышленном районе шло уже непрерывно, усиливаясь и расширяясь после этой стачки». (Ленин, т. VIII, стр. 278).

Московский комитет большевиков в своей прокламации называл стачечное движение в Иваново-Вознесенском районе сильным и могучим, разлившимся как пламя в центральной России. «И кто знает, — гласила прокламация, — не охватит ли это пламя, вспыхнувшее в Иваново-Вознесенске, таким пожаром всю Россию... Да, быстрыми шагами приближается революция и в ряды ее борцов славной поступью вступил иваново-вознесенский пролетариат».

Тов. Сталин,* политически оценивая ход революционного движения 1905 года в России, называл иваново-вознесенскую стачку, наряду с баррикадной борьбой в Лодзи, признаком надвигающейся грозы, которая «идет неудержимо и не сегодня—завтра разразится над Россией могучим очистительным ливнем, который сметет все старое, гнилое, смет с русского народа многовековой его позор — самодержавие» («Пролетарская революция», № 9, 1939, стр. 156).

Иваново-вознесенская стачка была революционной как по выставленным требованиям, так и по форме борьбы. Недаром из нее вышел Совет рабочих депутатов, который явился одним из первых в России — прообразом советской власти, осуществившейся через 12 лет в результате Великой Октябрьской социалистической революции. За два с половиной месяца своего существования и революционной деятельности Совет успевал вывить все основные признаки и особенности массового органа рабочего класса и формы будущей пролетарской власти. Он не был просто стачечным комитетом. Это был революционный орган, как и многие Советы рабочих депутатов, возникшие в 1905 году.

«Эти органы создавались исключительно революционными и слоями населения, они создавались вне всяких законов и норм, — писал Ленин, — всецело революционным путем... Это — власть, открытая для всех, делающая все на виду у массы, доступная массе, исходящая непо-

средственно от массы, прямой и непосредственный орган народной массы и ее воли. — Такова была новая власть, или, вернее, ее зачатки...»¹

По-ленински поняв назначение Совета рабочих депутатов, иваново-вознесенские текстильщики вновь создали его в февральские дни 1917 года. Будучи по составу руководства большевистским, он фактически захватил власть месяца за два до Великого Октября.

Прошел 41 год со времени образования первого Совета рабочих депутатов. С тех пор невиданно расцвела власть Советов, явившаяся политической основой нашего государства и формой морально-политического единства советского народа. Советское государство выдержало величайшее испытание суровой войны против фашистской Германии и победило в этой войне.

«...советский строй оказался не только лучшей формой организации экономического и культурного подъема страны в годы мирного строительства, но и лучшей формой мобилизации всех сил народа на отпор врагу в военное время» (И. Сталин).

Сейчас, когда страна вступила в период мирного развития, Советские люди поднимают наш народ на борьбу за ликвидацию тяжелых последствий войны, за новый, еще более блестящий расцвет нашей могучей Родины.

¹ Ленин, сочинения, т. IX, стр. 116—118.

П. М. Экземлярский

ИЗ ПРОШЛОГО ГОРОДА ИВАНОВА

ПЕРВАЯ ПОЛОТНЯНАЯ МАНУФАКТУРА

В годы Великой Отечественной войны, закончившейся полным разгромом фашистской Германии, текстильщики города Иванова вместе со всем нашим народом проявили величайший патриотизм. Храня и умножая все исторические трудовые и боевые революционные традиции, они проявили чудеса храбрости на фронте и самоотверженно работали в тылу. Преодолевая небывалые трудности, в течение четырех лет ивановские текстильщики одевали нашу доблестную Красную Армию. Один из старейших отрядов русского рабочего класса полностью проявил свои качества воспитанный трудовой героизм в деле достижения величайшей исторической победы. В годы войны крупная текстильная промышленность города Иванова вступила в третий век своего существования. Большой исторический интерес представляют годы становления крупной текстильной промышленности Иванова — годы зарождения рабочего класса, героически проявившего себя в последующей истории, возникновение и жизнь первой мануфактуры.

Известное по историческим документам с 1561 года крепостное село Иваново, предшественник нынешнего областного центра города Иванова, в документах XVII и первой половины XVIII века обрисовывается как крупное оброчное торгово-промышленное село; принадлежало оно крупнейшим землевладельцам князьям Черкасским. По описанию 1667 г. в селе было пашенных хозяйств только 38 с населением 101 человек, а непашенных хозяйств 274 с населением 717 человек. О непашенных крестьянах, бывших торговцами и ремесленниками, документы XVII века картинно говорят, что они «почасту в Шую с товаренком волочатца...», «с товаренком в Шую почаству таскаются». В то время Шуя, соединяясь через реку Тезу, приток Клязьмы, с волжским бассейном, была крупным торговым центром, куда приезжали иногородние и даже иностранные купцы; торговые связи Шуи по Волге доходили до Астрахани, а по северным путям — до Архангельска. В числе предметов торговли ивановских крестьян на окрестных ярмарках документы указывают холст. Сырьевую базу для холщевых промыслов и в дальнейшем для полотняной промышленности давало широко развитое местное льноводство. Возделывание и обработка льна исстари были крестьянским промыслом. Первоначально обработка льна служила целям натурального хозяйства, но затем крестьянские льняные изделия (главным образом — грубые холсты) стали рыночным продуктом, причем они продавались не только на внутреннем рынке, но шли и за границу. В XVI—XVII вв. производство и меновой оборот льна особенно разви-

рились на территории как нынешней Ивановской области (особенно Шуйский уезд), так и соседних областей — Владимирской, Костромской Ярославской и Вологодской.

Торговые связи скоро познакомили предприимчивых ивановских крестьян с отделкой холстов — их окраской и набойкой. В этом деле большую роль могло иметь влияние, шедшее из Астрахани, которая была старинным центром окраски тканей. Местная техническая подготовка давалась иконописным делом, составлявшим один из местных промыслов и резьбой по дереву, также широко развитой в крае.

Торговля и промыслы очень рано вызвали расслоение крепостного населения села Иванова: среди крепостных крестьян из скушников крестьянских изделий и торговцев выделился слой богачей. В начале XVII века становятся известными имена крестьян, ведущих торговые операции в Петербурге. В руках крестьянских богачей скопились уже большие капиталы, которые могли быть применены к организации промышленных предприятий. Из среды этой разбогатевшей крестьянской верхушки вышел и основатель первой мануфактуры в Иванове — крепостной крестьянин Григорий Бутримов. По характеристике крестьянина села Иванов Полушина, составившего «Памятную книгу» по селу Иванову, имеющую записи с 1751 г., «Григорий Бутримов по вотчине был человек не последний»,¹ т. е. принадлежал к богачам села — «первостатейным», как они назывались.

Владельцы села Иванова — с 1740-х гг. графы Шереметевы, как их предшественники, князья Черкасские, — крупнейшие землевладельцы тогдашней России, были заинтересованы в росте крестьянской торговли и промышленности, как средстве повышения их доходов от имения, по этому они не только не мешали развитию торгово-промышленной деятельности крестьян, но даже оказывали ей содействие. Благоприятным для крестьянской промышленности было и законодательство эпохи Петра I по «регламенту мануфактур-коллегии» 1723 г. разрешено было все «какого бы чина и достоинства кто ни был», заводить повсюду фабрики и мануфактуры. Общее оживление народнохозяйственной жизни в России, наблюдавшееся в 40-е и 50-е годы XVIII в., также толкало владельцев капиталов из крепостной среды на промышленную предприимчивость. В свою очередь, требования иностранного западного, в частности английского, рынка указывали направление для этой предприимчивости. Ранее на западный рынок из России шли холсты. В XVIII в. заграничный потребитель стал требовательнее, его уже не удовлетворяли редкие и узкие холсты крестьянского изделия, он требовал более плотных, тонких и широких льняных тканей, которые могла дать только полотняная мануфактура. В этих условиях крепостной крестьянин села Иванова Григорий Бутримов и получил в 1742 г. от мануфактур-коллегии разрешение на открытие полотняной мануфактуры. Бутримову в это время было уже более 60 лет. На организацию предприятия он вложил до 3000 рублей (рубль 1740-х гг. — 9 руб. 30 коп. золотом). Такой капитал в условия того времени надо считать довольно значительным. Это была первая полотняная мануфактура в Иванове и вторая на территории нынешней Ивановской области. До мануфактуры Бутримова существовала полотняная мануфактура в Кохме, открытая в 1720 г. «компанией» во главе одним из ближайших сорудников Петра I голландцем Тамесом. Но он просуществовала недолго — около десяти лет.

Крепостная действительность заставила вскоре придать оригинальную форму предприятию Бутримова. В 1740-х гг. начались ограничения прав крестьян на занятие торговлей и промышленностью, свирепая борьба с крестьянскими предприятиями. Заведение Бутримова в 1744 г. было

¹ Русский архив, 1898 г., № 6, стр. 177.

крыто указом мануфактур-коллегии, но почти немедленно — весной 1745 г. было восстановлено, но уже в качестве предприятия, юридически являвшегося не за Бутримовым, а за владелицей села Иванова, а следовательно и самого Бутримова, княгиней Черкасской. Так должно было маскироваться предприятие крепостного крестьянина, чтобы получить возможность существования. Перед мануфактур-коллегией Бутримов гал фигурировать, как «надзиратель» и «смотритель» господского предприятия, но во внутренних отношениях даже с владельцем села настоящее положение не скрывалось: Бутримов называл себя — «фабрикантом», «содержателем», «владельцем» «собственной» фабрики.

Черкасские и Шереметевы не жили в селе Иванове, а управляли своими многочисленными вотчинами из своей петербургской резиденции. Они находились на положении верховных правителей с признаками старых феодалов-государей. Только однажды в 1771 г. свирепствовавшая в России чума загнала Шереметева в село Иваново, где он провел осень и часть зимы и где «его сиятельству», как видно из его переписки, очень не понравилось: «здесь к прожитию моему во многом недостаток, достать ничего негде»¹. Из петербургской главной конторы графа шли указы, к нему обращались как к «государю» «рабы» села; он держал высший контроль над своими многочисленными владениями, в том числе над Ивановым. Приговоры сельских сходов, находившихся в руках богатей села, утверждались графом.

Открытое Бутримовым в Иваново предприятие носило название — «фабрики», так как в XVIII и первой половине XIX века слово «фабрика» употреблялось в смысле вообще промышленного предприятия. По характеру своему предприятие Бутримова представляло собою крупную шотландскую мануфактуру, в которой, при значительной концентрации рабочих и разделении труда, все процессы по выработке изделий производились руками рабочих при помощи самых простых приспособлений, ступивших впоследствии место машинам (слово «мануфактура» значит укладные).

Основной сырой материал для изготовления изделий мануфактуры составляла льняная пряжа. Эта пряжа покупалась на окрестных рынках и ярмарках, куда она поступала из деревень. В долгие осенние и зимние вечера при свете лучины выпрядалась она при помощи обыкновенного веретена и гребня крестьянскими женщинами. Уменьше прясть передавалось в крестьянских семьях по наследству из поколения в поколение; бучать девочек прядению начинали с шести-семилетнего возраста. В родаху пряжа поступала смотанной в «тальки» или «мотки». Ввиду того, что качество пряжи было очень разнообразно, мануфактура должна была запасаться пряжей в очень большом количестве, чтобы иметь возможность подбирать партии одинаковой тонины и доброты.

Для хранения пряжи на мануфактурах служили обширные кладовые,строенные под сводами в первых этажах фабричных зданий, вторые галки которых, «светлицы», служили для производства: в них ставились ганы и велась ткацкая работа.

Первая операция, которой подвергалась пряжа перед употреблением ткачество, была ее выварка в шадрике (шадрик — пережженная, плавленная зола буковых и вязовых дров). Производилась эта операция для придания пряже большей мягкости и для удаления из пряжи люны, которую она была пропитана во время прядения. Кроме того, выварка служила, до некоторой степени, и предварительным белением пряжи. Пряжа вываривалась в больших железных котлах. Вес пряжи от арки значительно уменьшался: обыкновенно из пуда сырой пряжи оставалось около 25 фунтов. После варки и просушки, производившейся на

¹ Иваново-Вознесенская губерния, т. I, 1924 г.

«вешалах», пряжа, предназначенная для основы, перевивалась из мотков на сновальные катушки, с которых позже производилась и сама сновка, уточная же перевивалась на шпульки (или цевки), вкладывавшиеся в челноки. И та и другая операция производились вручную, производили ее обыкновенно мальчишки.

Следующие операции над пряжей заключались в сновании и шлихтовании.

Снование производилось при помощи круглой сновальни с вертикальным барабаном. Сновальщица, собрав вместе в один пучок концы нитей с двух рядов катушек, завязывала их в узел, зацепляла за крючок на барабане и затем начинала вращать барабан, навивая нити на барабан, сначала сверху вниз, а потом снизу вверх. После снятия со сновального барабана основа перевивалась на навой ткацкого стана. При перевивке основы на навой производящие эту работу должны были следить, чтобы основа по ширине навоя распределялась как можно ровнее и однообразнее, что достигалось при помощи особого прибора, называвшегося «рядком». Правильное и отчетливое распределение нитей основы на навое имело громадное значение для успеха и качества тканья, — и операция навивки требовала много времени, труда, внимания и искусства.

За навивкой основы на навой следовала ее проборка в ремизы и бердо. Работа эта производилась работающим на стане ткачом и его помощником: один из работающих брал с навоя пряжу нитей и затем по одной подавал нити другому, а этот последний производил проборку. Следующая после проборки операция была шлихтовка основы жидким клеем, сваренным из пшеничного крахмала с небольшой примесью сала и мыла. Шлихтовка назначалась для придания нитям основы большей гладкости и крепости, а главное, для предохранения нитей от мшеница при прохождении через ремизы и бердо. Шлихтовка производилась двумя щетинными щетками, одну из которых ткач пропитывал шлихтом и проводил поверх основы, а другою сухою одновременно с первой проводил снизу; благодаря этому нити основы и проклеивались и проглаживались.

Наиболее трудною из всех операций являлось собственно «ткачество», т. е. выработка путем переплетения основных и уточных нитей самих тканей, в особенности узорчатых.

Ткачество производилось на самых простых деревянных ткацких станах, похожих на те станы, которые применялись по деревням при выработке холстов. Станы были двух типов: станы «подножечные» и станы «переборные». Первые служили для выработки полотен, каламенки и прочих тканей простейшего переплетения, вторые же — для выработки скатертей, салфеток и прочего так называемого «камчатного» белья с выработанными на них узорами. В станах «подножечных» основа ткани делилась на несколько равных частей; ткач, нажимая ногами то на одну группу подножек, то на другие, получал возможность, в зависимости от числа нажимаемых и поднимаемых подножек, получать нужные комбинации и тем самым вырабатывать более или менее красивые геометрические узоры. Что касается станов «переборных», то на них можно было поднимать и опускать любую из нитей основы по желанию при помощи особой проведенной к каждой нити веревочки с привязанным на конце ее грузом. Работа на этих станках была в высшей степени трудна, — она требовала от рабочих чрезвычайного внимания: достаточно было хотя бы одну нить основы поднять или опустить несвоевременно, — и тогда не только нарушалась правильность рисунка, но на месте ошибочно поднятой нити получалась «дыра».

Работа на «переборных» станах, в зависимости от ширины ткани и сложности рисунка, велась двумя или тремя или даже четырьмя рабочи-

ми одновременно, из которых один был «ткачом» и, считаясь старшим, отвечал за правильность рисунка, прочие же — переборщиками. Эта работа была медленна, утомительна и в то же время легко подвержена, при случайных ослаблениях внимания со стороны работающих, всевозможным ошибкам, отчего узоры на ткани получались обезображенными. Недаром работа эта называлась «каторжной».

Только гению француза Жаккарда, сыну ткача, испытанному в молодости все «прелести» работы на переборных станках в качестве «переборщика», удалось в начале XIX века изобрести механизм, носящий его имя. Но это изобретение стало применяться у нас только в период развитого капитализма.

После снятия тканей со станов они поступали в отбелку. Подлежащая отбелке ткань укладывалась в чаны с горячей водой, потом прополаскивалась с плотов в реке, закладывалась в котлы и бучилась; затем опять прополаскивалась в реке и расстилась дня на три-четыре на лугу. После выстилки на лугу ткани клались в квасцы, подвергались вторичному щелочению и опять выстились на лугу. После четырех-шести «щелочений» и «выстилок» ткани приобретали нужную степень белизны и отправлялись в окончательную отделку. Работа по отбелке принадлежала к числу самых тяжелых и нездоровых; рабочие постоянно находились в сырости и грязи, в щелоке, разъедавшем и обувь, и платье, и руки, в опасности обвариться и простудиться.

Окончательная отделка заключалась в стирке и высушивании тканей, в легком проколачивании их молотами или в катании тяжелыми, нагруженными тяжестью в 100 пудов и более катками. После этого полотна свертывались в куски, а скатерти и салфетки — в кипы и отправлялись к местам продажи¹.

Записав предприятие Бутримова на свое имя, будучи заинтересована в его доходах, владелица села княгиня Черкасская получила в мануфактур-коллегии в 1747 г. пятилетнее освобождение от пошлины «с покупки на ту фабрику товаров и с продажи сделанных на фабрике товаров». Мануфактура Бутримова стала развиваться. По данным 1748 г. на мануфактуре Бутримова было в действии 52 стана, в 1749 г. — 94, в 1752 г. — 67, в 1755 г. — 69, кроме того, по сообщению документов, в 1755 г. Бутримов, желая «утаить интерес его графского сиятельства», т. е. скрываясь от помещичьего обложения, выломал 20 станов².

Можно составить некоторое представление о строениях, обслуживавших отдельные части предприятия Бутримова, по известному описанию аналогичной мануфактуры, открытой в 1748 г. компаньоном, а потом конкурентом Бутримова Грачевым. В числе строений указываются «светлицы», в которых производится ткачество, «шпульня», «сновальная галанского манера», «мыларня» с котлами и чанами. Некоторые косвенные данные позволяют определить и место расположения мануфактуры Бутримова, — документы говорят, что конкуренту Бутримова Грачеву был отведен для постройки «фабрики» участок земли по соседству с Бутримовым, а предприятие Грачева впоследствии перешло к фабрикантам П. и Н. Гарелиным, на месте их фабрики в настоящее время находится прядильно-ткацкая фабрика — школа имени Шаренцовой.

В отличие от крестьянской домашней промышленности, вырабатывавшей холст, т. е. простую толстую льняную ткань 7—11 вершков шири-

¹ О процессе мануфактурного полотняного производства XVIII в. см. А. Ф. Грязнов — Ярославская Большая мануфактура. М., 1910. Стр. 118—126.

² Записки историко-бытового отдела Государственного русского музея, 1. Л. 1928, стр. 219. Отсюда и другие приводимые в дальнейшем документальные данные по мануфактуре.

ны, полотняная мануфактура выпускала различные сорта более плотных, тонких и широких льняных тканей. По названию и количеству станков на мануфактуре Бутримова можно определить ассортимент тканей и соотношение различных сортов. В 1749 г., который был годом наибольшего подъема производительности предприятия, у Бутримова было станков «коломенских» 62, «фланских» 10, «равендушных» 12, «скагертных» 7, «салфеточных» 3, «для тонкого полотна» 2. Первое место в производстве, как видно, занимала каламенка, которая представляла собою гладкую, беленую или суровую ткань, употреблявшуюся на одежду. Второе место занимал равендук — полотно, употреблявшееся для мелких парусов. Фламское полотно на холстной подкладке шло на солдатские летние штаны. Узорчатые ткани, более трудные для выработки, занимали в производстве незначительное место. Из вспомогательных материалов в производстве употреблялась зола (для беления пряжи), дрова (в качестве топлива) и пр. Особенно много требовалось дров. В ивановской вотчине леса было мало. Дрова приходилось покупать на стороне, и цены на них повышались. Односельчане жаловались на Бутримова, что он перекупает привозимый издалека (верст за 10—40) лес.

В 1751 г. при 170 станках у Грачева и 67 станках у Бутримова было сработано (по официальным данным, вероятно, уменьшенным) около 6 тыс. саж кусков (до 350 тыс. аршин) разных видов полотняных тканей по продажной стоимости на 36 тыс. рублей (рубли 50-х гг. XVIII в. равен 8 руб. золотом). В 1754 г. при 191 стане у Грачева и 69 станках у Бутримова сработано до 10 тыс. кусков (более 550 тыс. аршин) на сумму 53,7 тысячи рублей.

Качество продукции первых ивановских мануфактур, если судить по отзывам мануфактур-коллегии, куда представлялись образцы мануфактурных изделий, было достаточно высоким: по резолюциям мануфактур-коллегии «образцы по смотру явились хорошего качества».

Продукция, как видно из рапортов владельцев в мануфактур-коллегию, предназначалась на заграничный рынок, в качестве мест продажи указывается Петербург, иногда Архангельск. По словам предпринимателей, «кроме иностранных (кушцов) те фабричные товары, как каламенка, так и ровендук в России в продаже не производитца и стаями (оптом) не покупают». Продукция шла главным образом в Англию. Насколько Англия была заинтересована в русских льняных изделиях, видно из следующего указания исследователя Тарле: «В 1774 году в заседании английской палаты общин было засвидетельствовано, что без русского полотна, ввозимого в Англию, бедные классы английского народа обойтись не могут и что сырые материалы, получаемые из России, существенно необходимы для английского флота и английской торговли»¹.

Товары направлялись в Петербург следующим путем: сухопутно на протяжении 53 километров от Иванова до села Сидоровского на Волге, лежащего в 42 километрах ниже Костромы; далее — водным путем: по Волге, Мологе, Чагоде, Тихвинке, Ладожскому каналу и по Неве.

О внутренней жизни первой Ивановской мануфактуры, в частности, о положении рабочих, имеются лишь отрывочные и косвенные данные. К моменту открытия мануфактуры вполне подготовленных рабочих в селе Иванове не могло быть, так как техника мануфактурных изделий была выше техники домашнего ткачества. Надо было найти опытных рабочих и при их помощи обучать местных кадры. Такие рабочие были недалеко — в Яропольческой волости (нынешний Вязниковский район), где в начале 1730-х гг. возникла крупная полотняная мануфактура, основанная также крестьянином. Оттуда и были привлечены рабочие, ставшие инструкторами местных кадров. В 1749 г. Бутримов и Гра-

¹ Е в г. Д ю б ю к. Полотняная промышленность. 1926. Стр. 29.

чев доносили владельцу села, что «при заводе обучено Ивановской вотчины крестьян с 250 человек разным мастерствам, для которого нам по вступлении их в науки происходило траты не малое ж число, а ныне оные в науку произведены». «Наука», как видно, успешно усваивалась ивановскими рабочими. По отзыву ревизора мануфактур-коллегии, «мастера хотя и неаттестованные, а дело свое знают».

Привлекались инструктора и из Москвы. Когда понадобился «котьканью скатертей добрый мастер», «фабриканты» — Бутримов и Грачев просили опустить к ним прафского дворового человека Алексея Жукова, «который имелся при фабрике у московского купца Дан. Як. Земского и от него отошел и имеется в Москве». Просьба была удовлетворена, и Жуков «для обучения с. Иванова крестьян ткацкому мастерству» был отдан под расписку «фабрикантам» «впредь до указа».

Общее количество рабочих на двух полотняных мануфактурах в 1749 г. можно предположить до 300 человек.

На мануфактуру шли из крестьян, конечно, беднейшие слои — «крестьяне последней статьи», как они назывались. Крепостные по своему положению, они поступали на работу как вольнонаемные, но большинство их закабалялось владельцем предприятия, что на общем фоне крепостного права приводило их фактически в крепостную зависимость от владельца. Сами фабриканты указывают на долговую зависимость рабочего. По их словам, «дается им рабочим впрямь денег на платеж с тягол их всяких податей и на долговые нужды по усмотрению мастера их по 3, по 4 и по 5 рублей человеку». Это были «кабальные работники», находившиеся под двойным прессом эксплуатации, — как крепостные помещика, платившие ему оброк, и как «кабальные» «фабриканта»; эксплуатировавшиеся им на предприятии. Работали на фабрике и дети. В одном из документов при характеристике «прибытка», какой дает фабрика, указывалось, что благодаря ей «сироты мужеска полу и девченки малые будут иметь пропитание». Принимались на фабрику, как видно, и беспаспортные, т. е. беглые, хотя это и очень преследовалось. При одной из проверок вотчинным правлением села, «кто с каким живет паспортом» — обнаружилось у Бутримова шесть человек беспаспортных. За это пришлось Бутримова уцлатить штраф в графскую контору в сумме 98 руб. О какой-либо защите прав личности и труда рабочих, конечно, не могло быть и речи. Рабочий день определялся по усмотрению владельца и был не менее 14 часов ежедневно: с 4 часов утра до 8 часов вечера с перерывом на обед летом в два часа, зимой в один час; зимой работа кончалась на час раньше. По некоторым косвенным данным можно составить представление и о заработной плате рабочих. В одном из сохранившихся договоров с рабочими 1780-х гг. на «фабрике» Грачева заработная плата рабочего определялась в 20 рублей в год; с другой стороны, имеется указание, что в первые годы существования мануфактур «конторщик» из местных крестьян Алексей Лубов получал по 45 рублей в год. Среднюю оплату рабочих можно определить в 20—30 руб. в год, т. е. до 2 руб. 50 коп. в месяц.

Режим на мануфактурах был крепостной. Владельцы получали от помещика право самостоятельно наказывать рабочих. В 1750 г. Бутримов и Грачев обратились к графу Шереметеву с прошением. Жалуясь на то, что за отсутствием графского «указу к крепкому содержанию работных с. Иванова крестьян, оные крестьяне их и прикащиков их не слушают», «фабриканты» просили, «дабы повелено (было) оным работным людям как нас, так и прикащиков наших во всем слушатица, а за učinенные их при фабриках непотребные продерзости по силе чинить бы им при фабриках же наказания». Прошение было удовлетворено. Приказано было «на фабрике рабочим людям объявить», что замечен-

ные в проступках «фабрикантами» наказываются «при фабрике для страху другим с запискою в книгу». О характере наказаний можно составить некоторое представление по «Регламенту и работным регулам на суконные и каразейные¹ фабрики», изданным правительством в 1741 г. По мнению некоторых исследователей, этим «регламентом» регулировалась вся текстильная промышленность XVIII в. В ст. 8 «Регламента» «О непослушности и противностях против фабричного содержателя и других начальников» говорилось: «Кто из надзирателей, мастеровых и рабочих людей фабричному содержателю или другим на фабрике начальникам своим, которым почтение и послушность показывать весьма должны, непослушен или противен явится и грубыми ругательными словами дерзостно их касаться будет, того за такое преступление и по пропорции оных наказать: в первый раз плетью, в другой раз батожем², с платежом и вычетом заслуженной платы на три месяца, в третий раз ссылкой на один год в каторжную работу; ежели кто дерзнет вышеупомянутых людей рукой или побоями оскорбить, того бить кнутом, и по обстоятельству дела осудить в каторжную работу на несколько годов или вечно³. За всей жизнью рабочих был установлен строгий надзор. Вотчинной полиции села Иванова было приказано следить, чтобы работники «не токмо по ночам», но и в день без дела не шатались».

В руках своего основателя Бутримова первая мануфактура находилась недолго. В 1761 г. Бутримов еще указывается «содержателем фабрики», но в 1765 г. о нем уже нет сведений. Надо полагать, что предприятие Бутримова перешло в руки Грачевых, очень широко развивших свое предприятие.

Так положено было начало более двухсот лет тому назад крупной текстильной промышленности Иванова в форме полотняной мануфактуры.

Вслед за первой мануфактурой крестьянина Бутримова открылась, как уже на это указывалось, в 1748 г. вторая мануфактура крестьянина Грачева. В 1774 г. на плане генерального межевания села Иванова указаны три полотняных мануфактуры — Грачева, Гарелина и Ямановского.

Открытие полотняных мануфактур не остановило развития крестьянского холщевого ткачества и набойного дела. «Наказы» городов Шуи и Суздаля в Екатерининскую комиссию 1767 г. по сочинению нового уложения говорят, что в селах Суздальского уезда, в том числе и в Иванове, имеются недельные торги (в Иванове они бывают по четвергам), на которые бывает «большой съезд»: «крестьяне торгуют и на ярмонках покупают на значительную сумму холстов, пестряди, сукна, понитка и отвозят большими стаями к портам и в сибирские города и в прочие отдаленные города и ярмонки»⁴.

Известны также поставки ивановского холста на ситценабивную фабрику Лимана в Шлиссельбурге. За время с сентября 1766 г. по январь 1767 г. Лиман заключил сделки на поставку для своей фабрики — с ивановским купцом В. Гарелиным на 7366 аршин холста по 12 коп. за аршин и на 5800 арш. по 10,5 коп., с ивановским купцом С. Кучновым на 160¼ арш. холста шириною 1,5 арш. по 16 коп. за аршин⁵. Далеко расходилась и ивановская набойка. В 1766 г. были задержаны

¹ Каразея — грубая шерстяная редкая ткань, употреблявшаяся на подкладку.

² Батоги — толстый прут.

³ Полное собрание законов, № 8440.

⁴ Сборник исторического общества, т. 107, стр. 16.

⁵ Дмитриев Н. Н. Первые ситценабивные мануфактуры XVIII в. М.—Л. 1935 г. Стр. 193—194.

полицией в Петербурге крестьяне села Иванова — братья Кротовы с ящиком, нагруженным набойкой¹. Крестьяне были задержаны потому, что их торговля считалась незаконной. Факт этот бесспорно говорит о широком развитии набойного дела в Иванове.

Открытие полотняных мануфактур, развитие холщевого и набойного промыслов и торговли вызвали необычайно быстрый рост крепостного села. Один из современников так характеризует Иваново того времени: «От села Кохмы в полночь (к северу), расстоянием в верст восемь, есть село Иваново Черкасских князей, а ныне за графом Шереметевым, село селением велико и пространно, а строением богато, хотя и деревянные дома, но весьма изрядных много; обыватели больше торговые, а пахотных малое число в селе. В том селе Иванове... полотно знатные строят и белят, которые полотна и в других местах честь имеют, и множество тех полотен отвозят торговые по разным сторонам»².

В дальнейшем ивановская промышленность прошла длинный путь развития. Полотняная мануфактура в конце XVIII и начале XIX в. сменилась мануфактурой хлопчатобумажной и ситценабивной.

НАЧАЛО БУМАГОТКАЦКОЙ И СИТЦЕНАБИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В начале XIX в. село Иваново, принадлежавшее крупнейшим помещикам тогдашней России графам Шереметевым, привлекало к себе широкое внимание. Будучи крепостным селом, оно готово было конкурировать своей экономической мощью с «знатнейшими» городами. «Село Иваново, — говорилось в «Статистическом обозрении состояния Владимирской губернии в 1817 году», — весьма значительно по своей промышленности, которая превосходит свою торговлей и рукоделаниями не только все города сей губернии, но и может сравняться с знатнейшими городами, каков есть Ярославль и Калуга...». Об Иванове начала говорить центральная периодическая печать. «Журнал мануфактур и торговли» в 1828 г. указывал на «обширное фабричное заведение» села. В журнале «Московский Телеграф» в 1826, 1827 и 1828 гг. напечатаны об Иванове обширные статьи. Причиной такого внимания к селу Иванову явилось то, что в первой четверти XIX в. Иваново становилось крупнейшим центром ситцевого и бумаготкацкого производства; это был домашний (мануфактурный) период расцвета ситцевого производства, «золотое» время набойщика и период широкого развития светелочного бумажного ткачества. Ситцевое и бумаготкацкое производство пришло здесь на смену полотняной мануфактуры и холщевой набойки, выросших на базе холщевого ткачества XVII в.

Крупная полотняная мануфактура, перерабатывавшая скупавшуюся в окрестных деревнях льняную пряжу в различные виды полотняных тканей, возникшая в 1742 г., господствовала в Иванове в течение второй половины XVIII в. Одновременно продолжалась среди крестьянства выработка холстов и холщевой набойки. Новые исторические условия, развившиеся в конце XVIII в. и начале XIX в., вызвали существенное изменение в характере промышленности Иванова — переход от полотняного к хлопчатобумажному и ситцевому производству. Это изменение имело тесную связь с международными экономическими и политическими отношениями того времени.

¹ Дмитриев Н. Н. Первые ситценабивные мануфактуры XVIII в. М.—Л. 1935 г. Стр. 258.

² Временник Московского общества ист. и древн. Российских. М. 1855 г., кн. 22.

Важнейшим фактом экономической истории конца XVIII в. в Западной Европе был промышленный переворот в Англии. В условиях большого экономического подъема и расширявшегося рынка мануфактурная промышленность Запада не могла удовлетворить возрастающего спроса; в ответ на это в Англии появились машины и стали строиться фабрики с механическим оборудованием. С 1760-х годов произошел ряд технических изобретений, изменивших самый характер английской промышленности. В 1765 г. Харгривс изобрел прядильную машину «Дженини». В 1769 г. Аркрайт сконструировал ватерную машину, а в 1771 г. построил первую фабрику с механическим (водяным) двигателем. В 1785 г. появился механический ткацкий станок Карпайта, а Томас Бел изобрел способ окрашивания тканей при помощи вращающихся цилиндров. В 1763 г. Уатт сконструировал паровую машину, получившую применение в бумагопрядении с 1785 г. В результате промышленного переворота дешевые хлопчатобумажные ткани находили огромный рынок сбыта и стали вытеснять изделия полотняной промышленности.

Царская Россия первой четверти XIX в., переживая разложение крепостного хозяйства, уже очень тесно была связана с мировым рынком, поэтому промышленный переворот в Англии довольно быстро и с различных сторон отразился на текстильной промышленности России и, в частности, села Иваново. Полотняные мануфактуры Иваново сбывали свою продукцию главным образом на иностранный, в частности, на английский рынок. В новых условиях этот рынок во второй половине XVIII в. стал закрываться для полотняной промышленности. Вместе с тем на русском рынке шло снижение цен на появившуюся бумажную ткань — миткаль с одновременным вздорожанием льняного сырья. Ясно, что новые ткани — бумажные ситцы и полуситцы — должны были все более вытеснять льняную ткань. Положение на рынке стало особенно невыгодно для полотняных тканей после изобретения в Англии цилиндрического печатания ситцев, которые в 1796—1797 гг. заполнили русский рынок.

Спасаясь от конкуренции, которая могла погубить их, ивановские предприниматели стали также переходить на хлопчатобумажное и ситцевое производство, при этом сначала стала вводиться отделка бумажных привозных тканей, а потом возникло местное бумаготкацкое производство.

По словам одного из исследователей, село Иваново «было первым рассадником бумажной промышленности во Владимирской губернии... в нем совершались первые опыты ситценабивной фабрикации..., качество миткалей было предпринято раньше всех в губернии в этом селе». ¹

Первое появление отделки бумажных тканей в селе Иваново относится к 1770-м годам, когда наряду с полотняными изделиями здесь стала вырабатываться так называемая «выбойка» из бухарской бязи и бумажные платки. Это было результатом торговых сношений с Востоком через Астрахань. В 1787 г. началось в Иваново ткачество бязи из бухарского хлопка. Хотя ткачество льняных изделий издавна велось в Иваново, но тогда не знали еще обработки бумажной пряжи, особенно заклейки. Тканье производилось пополам с бумагой. Основа была льняная, уток бумажный. Та заклейка, которая при этом употреблялась, была годна для грубой бухарской пряжи. Для более высоких сортов отделанных тканей в конце 1780-х годов употреблялись покупавшиеся в Петербурге бумажные ткани.

¹ И. Е. Несытов. Очерк XXV-летнего развития мануфактурной промышленности Владимирской губернии. Стр. 61.

В 1790-х годах начались попытки ткать из английской пряжи. Для ткачества приглашались рабочие из Москвы, так как местных ткачей, умевших управляться с этой пряжей, было мало.

Широкому и быстрому распространению нового вида производства в конце XVIII в. помогло то обстоятельство, что в это время значительно развязалась, до тех пор очень стесненная, крестьянская предпринимательская инициатива. Под влиянием движения под руководством Е. Пугачева Екатерина II издала 17 марта 1775 г. указ, которым дозволялось «всем и каждому... заводить всякого рода станы и производить на них всевозможные рукоделия, не требуя на то уже иного дозволения от вышнего или нижнего места».¹

Крепостным крестьянам теперь не надо было, при открытии предприятий, маскироваться, т. е. открывать их на имя своего владельца, как они это делали раньше.

Известны отдельные предприниматели и предприятия — пионеры ситцевого и бумаготкацкого производства. Большое значение в деле развития ситцевого производства имела деятельность ивановского крепостного крестьянина О. С. Сокова. Он был резчиком — вырезывал манеры для набойки. Набойка выработывалась примитивная — масляными и линочными красками; ивановцы не знали секретов составления и закрепления красок. Масляная краска как бы сковывала ткань, лишала ее гибкости, быстро крошилась, плохо выдерживала стирку. Благодаря давним связям с Петербургом в Иванове знали о существовании близ Шлиссельбурга ситценабивной фабрики Лимана (это была вторая в России ситценабивная фабрика — открылась она в 1763 г.); здесь употреблялись разнообразные органические и минеральные краски, применялась многоцветная набивка, а, главное, производилось закрепление красок с тем, чтобы они от действия воды и солнечного света не смывались и не линяли.²

Поставив себе целью ввести усовершенствования в набойное дело, О. С. Соков около 1780 г. (ему в то время было 30 лет) вместе с товарищами, крестьянами села Иваново, отправился в Шлиссельбург; в качестве опытных набойщиков и резчиков ивановцы поступили на фабрику Лимана. Лиман особенно охранял «тайности» составления и закрепления красок. Но Сокову удалось узнать эти секреты. Овладев ими, Соков вернулся в Иваново и в 1787 г. завел небольшую мануфактуру. Сначала он выработывал набойку по холсту и полотну, но вскоре перешел к набивке бумажных тканей.

Познакомившись у Лимана со всеми операциями по отбелке, набивке и крашению, Соков извел рациональный способ отбелки с применением правильных рецептов составления красок.

Имеются сведения о связи крупного полотняного мануфактуриста села Иваново Грачева в 1770-х годах с той же ситценабивной фабрикой Лимана и о заимствовании отсюда секретов отделки миткалей³. Действительно, Грачев, кроме полотняной мануфактуры, в 1780-х годах имел уже и «набоечный завод». По «верющему письму» от графа Шереметева 1789 г. «набоечный завод» Грачева изготовлял «всякого рода набойки и полуситцы». Для выработки употребляли «миткаль, бумагу хлопчатую, простую и пряденую, также крашеную, и разные краски, и травы маре-

¹ Полное собрание законов, т. XX, № 14275.

² Н. Н. Дмитриев. Первые русские ситценабивные мануфактуры XVIII в. ОГИЗ. М.—Л. 1935. Стр. 85.

³ И. Е. Несытов. Очерк XXV-летнего развития мануфактурной промышленности Владимирской губернии. Стр. 62.

ны корень»¹. Так полагалось начало ситцевой мануфактуры, вытеснявшей полотняное и примитивно-набойное производство.

Крупные полотняные мануфактуры села (по данным 1774 г. таких указывалось три — Грачева, Гарелина и Ямановского), постепенно от полотна переходили к ситцевому и бумаготкацкому производству, причем сначала в открываемых при мануфактурах набойных стали выработать ситцы по привозным миткалям, а затем перешли к производству своих миткалей вместо полотна. Так, на старой полотняной мануфактуре Грачева до 1798 г. набивались ситцы по «заморским» миткалям, закупавшимся в Петербурге, а во второй половине 1800 г. на этой полотняной мануфактуре было выткано 3000 штук своего миткаля. На предприятиях М. И. Гарелина и М. И. Ямановского в 1803 г. вместо льняного было уже исключительно бумажное производство — выработывались ситцы, выбойка и платки. В этом году здесь появилась английская бумажная пряжа, из которой ткали миткаль. Предприятия стали называться вместо полотняных бумаготкацкими и ситцевыми. На многочисленных набойных заведениях Иванова стали также переходить к отделке бумажных тканей.

Бумажная пряжа стала раздаваться крестьянам на руки из раздаточных контор, которые открывались при отделочных предприятиях, т. е. вместе с централизованной мануфактурой, каковой были полотняные мануфактуры и возникшие отделочные заведения, устанавливалась в бумаготкацком деле мануфактура децентрализованная. В результате, как говорит местный исследователь Я. П. Гарелин, «в конце XVIII столетия чуть не все Иваново обратилось в сплошную мастерскую... Большинство ивановцев... были набойщиками и резчиками. Ребята также работали в качестве штрифовальщиков...». В то же время «каждый почти дом представлял собой маленькую ткацкую, так как большая часть женщин занималась дома тканьем миткаля, причем девочки-подростки приготавливали цевки... Даже малолетние и те или дома мотали шпули, или поступали на фабрики»². Это же явление распространилось и на соседние деревни.

Первые итоги развития бумаготкацкой и ситцевой промышленности указаны в «Ведомости, учиненной Шуйским земским судом о состоящих в селе Иваново с деревнями заводах и фабриках»³ за 1803 год. В селе Иваново считалось принадлежащих крепостным крестьянам 49 предприятий и в окрестных деревнях 11. Кроме того, в Иваново было крупное предприятие единственного выкупившегося на волю крестьянина и записавшегося в Московское купечество Грачева, оно считалось в аренде Грачева, а юридически принадлежало графу Шереметеву. Общая сумма производства предприятий села Иваново — «фабрик», как они назывались, составляла 1 051 306 рублей. Это по официальным данным, без сомнения эта сумма преумножена владельцами, по показаниям которых она определялась. Самыми крупными предприятиями были фабрики — Грачева, с производством на 625 000 рублей, И. Ямановского, с производством 7 000 кусков⁴, на 121 820 рублей, и М. Гарелина — 3 950 кусков, на 67 950 рублей. Сумма производства остальных предприятий указывалась от 15 000 рублей и ниже, при этом из 47 предприятий «фабрик» с производством ниже 3 000 рублей указано 17, от 3 000 до 5 000 рублей — 12, от 6 000 до 10 000 рублей — 14, от 11 000 до 15 000 — 4. Кроме пред-

¹ Записки истор.-быт. отдела Государственного русского музея. Т. I, 1928 г. Стр. 229.

² Я. П. Гарелин. Город Иваново-Вознесенск. Ч. I, 56, 163—164.

³ В XVIII в. и первой половине XIX в. «фабрикой» называлось всякое промышленное предприятие независимо от техники и объема производства.

⁴ В куске — 30—37 арш.

приятый Грачева и Гарелина, у которых отчасти еще сохранилось плотняное производство, остальные предприятия заняты выработкой ситца, набойки, выбойки, платков бумажных и холщевых.¹

Новая производственная терминология выражала новый характер продукции. Старое название «набойка» употреблялось в применении к набивке простого льняного полотна-холста. Новым термином «миткаль» (слово персидского происхождения) называлась всякая белая бумажная ткань, шедшая под набивку, а также расходившаяся и в неокрашенном виде. Набивка по бумажной ткани носила название «выбойки» (на практике названия «набойка» и «выбойка» смешивались), набивка по батисту и колленкору называлась ситцем. (слово «ситец» — индийского происхождения, означает пятно, крапинку), от которого отличался полуситец, бывший менее тонким и широким, чем ситец.

Предприятия Иванова, являясь предприятиями мануфактурного типа, имели довольно пестрый вид. Некоторые из так называемых «фабрик» находились еще в самом начале процесса перехода от ремесла к мануфактуре. Они состояли всего лишь из одной светелки с одним-тремя набивными станами и красочной заварки; рабочих в них насчитывалось человек пять. Владельцами их были вчерашние мелкие товаропроизводители, еще только перераставшие в мануфактуристов. По размерам капиталов им доступен был лишь самый дешевый вид сырья — деревенский холст и производство самого дешевого вида тканей — набойки. Это было старое, доживавшее свой век производство. На следующей ступени стояли собственно ситцевые «фабриканы», хотя и не порвавшие в некоторых случаях с набойкой, их дело — печатание бумажной выбойки, наиболее дешевого вида бумажных набивных тканей; это требовало уже капитала более значительных размеров. Еще ступенькой выше стояли фабриканты, вырабатывавшие только выбойку. Наконец, увенчивали эту лестницу фигуры фабрикантов — Грачева, выкупившегося в 1795 г. на волю и ставшего уже московским кушом, и находившихся еще в крепостной зависимости — Ямановского и Гарелина. Эти крупные предприниматели, раньше владевшие полотняными мануфактурами, теперь приспособились к новым условиям; у них вырабатывался миткаль, ситцы и полуситцы.

Благоприятные условия для укрепления хлопчатобумажного и ситцевого производства в России и, в частности, в Иванове создавались международной политической обстановкой начала XIX в. Особенное значение в этом отношении имела континентальная блокада, проводившаяся Наполеоном для уничтожения английской торговли, к которой присоединилась Россия по Тильзитскому миру 1807 г. Эта блокада защищала русских предпринимателей от конкуренции англичан, о чем до этого хлопотали содержатели ситцевых и миткалевых фабрик центрального района. Что касается бумажной пряжи, которую закупали в Англии, то она «провозилась через Пруссию под именем брабантских ниток, которые и очищались пошлиной в таможне, как произведение дружественного государства»².

Рост ситцевой промышленности Иванова продолжался. По данным 1808—1810 гг. в селе насчитывалось «фабрик каменных» — 20, деревянных — 64. Общая сумма производства в официальных данных определялась в 2 100 000 рублей. Самым крупным предприятием оставалось

¹ Экземплярский П. М. Село Иваново в начале XIX в. Труды Иван.-Вознес. губ. научного общества краеведения. В. 3., 1925 г. Стр. 154 и сл. Отсюда и дальнейшие сведения об Иванове в начале XIX в. без приведения ссылок. В статье указаны документальные источники.

² Я. П. Гарелин. Город Иваново-Вознесенск, Ч. I, стр. 186—187.

старое предприятие Грачева, на котором «соткано миткаля и по нем набито ситцев, набойки и платков 28 000 штук» на 1 000 000 рублей. Мощным предприятием являлась и фабрика Ямановского. По характеристике документов «у крестьянина Михаила Ивазова Ямановского ткуются миткаля, выделяется выбойка, ситцы, полуситцы, платки ткуют на 500 станов, обрабатывают набойки на 100 верстаков, рабочих людей — 930 человек, выделяет в год миткалю до 12 150 штук, выделяет набойки — до 4 500 штук, полуситцу — до 3 400, платков — до 1 700, ситцу — до 2 550, кои стоят по своей цене 225 600 рублей».

Исключительное влияние на развитие ивановской текстильной промышленности имели события Отечественной войны 1812 года, вызвавшие разрушение промышленности Москвы. По словам Я. П. Гарелина, «все фабричные обороты и деятельность московских фабрик перешли в то время (после 1812 года) в руки ивановских фабрикантов. Работы, производившиеся на здешних фабриках день и ночь, увеличили производство товаров неимоверно; набойщики зарабатывали тогда до 100 руб. ассигнациями в месяц (до 20 руб. серебром — П. Э.). В это десятилетие (1812—1822 гг.) совершился постепенный переход многих из горшечников (так назывались владельцы примитивных набойных заведений. — П. Э.) в солидных фабрикантов».¹

Об итогах промышленного подъема села Иванова после 1812 г. дает некоторое представление «Статистическое обозрение состояния Владимирской губернии в 1817 г.». В этом «Обозрении» о селе Иванове сказано, что «здесь выделяется одних мануфактурных изделий, как-то: миткалю, полотна, ситцу на сумму до семи миллионов, а торговля оного простирается до шести миллионов. Село Иваново заключает в себе весьма много полезных ремесленников и художников, коих считается до пяти тысяч человек... В селе Иванове закупается одной бумаги до 20 000 пудов, из коей вырабатывается миткалю 215 607 штук, а из оного набивается ситцу 55 140 штук, в платки 20 360 штук, в выбойку — 77 670 штук, а прочий оставшийся миткаль продается неокрашенным».

Дальнейшим сильным толчком к развитию хлопчатобумажной промышленности Иванова было издание в 1822 г. запретительного таможенного тарифа. По этому тарифу вовсе не допускались из-за границы ткани льняные (кроме батиста и батистовых платков), хлопчатобумажные (кроме наиболее простых) и большая часть шелковых тканей. По сообщению одного из московских журналов второй половины 1820-х годов, в селе Иванове насчитывалось до 170 промышленных заведений, «начиная с главных фабрик, в коих набивается ситцев на 150 столах, до последних рабочих столов с двумя столами»².

Известны документальные описания отдельных предприятий села Иванова рассматриваемого периода. Эти описания характеризуют предприятия, как чистые мануфактуры, основанные на исключительно ручном производстве. В центре производства находилась отделка тканей; что касается ткачества, то оно производилось по деревням путем раздачи бумажной пряжи из раздаточных контор при предприятиях, где пряжа подвергалась только некоторой предварительной обработке. Как исключение, при единичных предприятиях существовали ткацкие. Одним из крупных предприятий, как указывалось, была «фабрика» М. Ямановского. Документальное описание 1816 г. дает следующую его характеристику. Все предприятие М. Ямановского состояло из 24 строений каменных и деревянных. В число строений входили — два камен-

¹ Я. П. Гарелин. Город Иваново-Вознесенск. Ч. I, стр. 204.

² Московский Телеграф. 1826 г. Ч. XI, № 17, стр. 113.

ных трехэтажных корпуса и один каменный двухэтажный для печатания ситцев, двухэтажный каменный корпус для составления красок и такой же для клеения и просушки пряденой бумаги, трехэтажный каменный корпус для сушения печатных тканей, каменная «галандра», деревянный корпус для беления тканей (беление производилось летом на лугах, зимой — химическим способом), кладовые и амбары всякого рода, до десяти зданий для жительства рабочих, баня, колодцы. Качество производилось по деревням на 1000 станков. В качестве сырья на фабрике употреблялась «бумага аглицкая и александровской мануфактуры» 2000 пудов, закупавшаяся в Петербурге. Кроме того, часть готовых миткалей закупалась в Москве. Для отделки тканей употреблялись — крап, краски индиго, чернильные орешки, квасцы, сахар-сатурн, уксус, поташ и др.; закупалось это в Петербурге, Москве, Астрахани, Казани и других местах. Дров расходовалось 6,5 тысячи сажень. Выработывалось на фабрике — ситцев на 45 столах 555 тысяч аршин, полуситца на 5 столах 17 тысяч аршин, выбойки на 45 столах 450 тысяч аршин, платков на 15 столах 56 тысяч аршин. «Рабочих людей» состояло — мужчин 1402 человека и женщин 85 человек; «все сии люди вольнонаемные». Продавался товар на ярмарках — Макарьевской, Ростовской, Ирбитской, Ковровской, Парской и др.

Как проходил самый процесс основного на предприятиях Иванова в то время ситценабивного производства до появления машин, которое началось в конце 1820-х годов?

Центром ситценабивного производства было здание, в котором помещались набойщики. Строилось оно с окнами по возможности со всех сторон, так как свету нужно было как можно больше. Кроме света требовалось и тепло, чтобы набитая по миткалю краска могла скорее высохнуть не подтекая. Наверху устраивались «вешала», по которым двигался миткаль во время набивки. В набойной ставились «столы», или «верстаки». Стол делался четырехугольный в 2,5 аршина длины, 1,5 аршина ширины, 1 аршин 2 вершка и более высоты; поверхность стола представляла горизонтальную ровно выстроганную доску. Во время работы стол покрывался сукном, на котором ровно и гладко растилался миткаль, назначенный для набивки. По левую сторону стола на скамейке помещался шрифтовый ящик, в котором находился круг, имевший обечку, как у сита. В этот круг — «обрез» наливали сгущенный крахмал, на него клали клеенку и затем сукно, на котором наштрифовывали кистью краску. Форма, или «набивная», иначе «манер», делалась из грушевого или пальмового дерева. Употреблялась также при больших формах киянка, или молоток (чокмарь), для приколачивания формы к миткалю, а при небольших легких формах кулак набойщика заменял киянку. От искусного набойщика требовалось, чтобы он верно по знакам, показываемым иголками, сделанными в четырех концах формы, накладывал краску на поверхность выделенного миткала и расправлял бы миткаль по набивному столу так, чтобы никогда не было складок, иначе при крашении складки эти оставляли белые, неокрашенные полосы и образовывали, так называемые, «ласы».

Для укрепления расцвета на ткани и для придания яркости и колера ситцы заваривали в жидком отваре крапа, гарансина и марены в краповых ваннах и горячей воде. Для этого устраивались особые здания на берегу реки, которые назывались заварками. Заварка строилась без потолка, который заменялся крышей; она имела широкую дверь на улицу и узенькую дверь на реку по направлению к мытилке. Здание наполовину заполнялось дровами, остальная часть занята была большими печами со вмазанными в них сверху котлами. Над котлом помещался баран, на который накладывали набитый ситец; концы ситца обыкновенно связывались. Рабочие вертели баран, так что ситец, по-

женный на нем, представлял собой подобие бесконечного ремня. Ситец обыкновенно сначала «посирили», т. е. заваривали его в жидком растворе коровьего помета, затем уже заваривали в красках. Когда находили, что ситец достаточно заварили, его снимали с барана, и мыльщики отправлялись смывать его в мыльницу. Мыльница состояла или из простого плота, или особого здания — наподобие портомоек. После мыльщи ситец направлялся в сушильню, или бельник.

В начале развития набойного дела и позднее в мелких предприятиях ткани набивались по большей части одним манером, редко двумя и еще реже тремя. Позднее в крупных предприятиях в процессе набивки участвовали группы набойщиков. Первую группу составляли «заводчики», делавшие на миткале первый абрис рисунка (десейна), от которого зависела вся красота ситца и чистота набивки последующими красками. В набойном мастерстве «заводка манера» составляла главный момент производства. Ко второй группе относились «грунтовщики», набивавшие грунт, т. е. фон ситца; к третьей — набойщики, обрабатывавшие ткани в красный, желтый, фиолетовый и другие цвета; к четвертой — «расцветчики», делавшие окончательную расцветку ситца зеленой и голубой красками.

Большое, если не главное, значение для качества набойного производства имела деятельность «колориста» или «красовара». Местом его работы на предприятии была фабричная лаборатория, или «красоварка». В красоварке находились котлы и плита для варений красок; в секретной комнате, куда вход не всякому был доступен, колористом производился развес материалов и делались пробы и опыты.

Успех ситценабивного производства зависел также от «резчика», приготовлявшего «манер», для чего при предприятиях находились особые помещения — «резные». От резчика требовались правильность и тщательность приготовления манера. Неровность поверхности манера, несоблюдение деталей нередко вызывали порчу ситца — неровность цветов и пробелы¹.

Бумажное ткачество, как уже говорилось, производилось главным образом по деревням, при отделочных предприятиях находились лишь раздаточные конторы. Крупные ситцевые фабриканты передавали бумажную пряжу большей частью комиссионерам, которые иногда имели свои светелки на 5—15 и больше станков или передавали пряжу для ткачества крестьянам. Средние фабриканты раздавали пряжу непосредственно «мелочным» ткачам, которые ткали у себя в избах или в особо устроенных светелках.

Потребность на бумажную пряжу была огромная, и Иваново стало крупным рынком ее продажи. В статье журнала «Московский Телеграф» за 1826 г. говорилось: «Александровская² бумаго-прядильная мануфактура продает в селе Иванове бумажной пряжи около десяти тысяч пудов, на миллион рублей в год. Разные торговцы, покупающие в Санктпетербурге... бумажную пряжу, продают ее здесь до ста тысяч пудов... Бумажная пряжа и прочие товары, идущие сюда из Санктпетербурга, в летнее время доставляются посредством водяных сообщений — через Неву, Ладожский канал, Сясь, Тихвинку, Чагоду, Мологу и Волгу до села Сидоровского, в 40 верстах ниже Костромы лежащего. Здесь товары выгружаются и через 50 верст перевозятся сухопутно в

¹ О процессе ситценабивного производства см. И. Е. Несытов «Колористы и набойщики Владимирской губернии». Владимирский историко-статистический сборник», 1869 г., стр. 37—75, а также Я. П. Гарелин. Город Иваново-Вознесенск, ч. I, стр. 176—180, 199—200.

² Александровская мануфактура находилась близ Петербурга, возникла в 1798 г.

Иваново»¹. Это был старый путь из Иванова в Петербург, проложенный еще в XVIII веке.

Сбыт продукции предприятий села Иванова происходил главным образом на внутреннем рынке тогдашней России и отчасти на восточных зарубежных рынках. В той же статье Московского журнала автор говорил: «Ситцы и прочие бумажные изделия продаются в Москве в большом количестве. Это главное торжище, из которого развозятся они почти во все стороны империи. Сверх того производится важная продажа в ярмарках: Нижегородской, Ирбитской, Ростовской, Коренной, Харьковской и Роменской. В первой главные покупатели армяне, от-правляющие великое количество ситцев в Грузию и Персию»².

Тот же автор так рассказывает о торговле в самом Иванове: «Торговые дни в селе Иванове учреждены по понедельникам, в кои происходит покупка бумажной пряжи на пятьдесят тысяч рублей и более; в средние на сумму от двадцати до сорока тысяч; в слабейшие же торговлею понедельники на сумму от пяти до десяти тысяч рублей. Жители Иванова и крестьяне и крестьянки всей окрестности покупают основу и уток бумажной пряжи ватер и мюль пачками и ткнут в домах своих миткаль, на сих же базарах ими продаваемый, за который получая от фабрикантов деньги, употребляют снова на покупку пряжи... Многие купцы из разных губерний приезжают в Иваново за покупкою изделий в самих фабриках и отвозят их в места своего жительства или в те, где торговлю производят»³.

Как видно, кроме мануфактур, в Иванове широко развито было и кустарное производство бумажных тканей.

Рост промышленности вызвал и рост села. По данным «ревизских сказок» седьмой ревизии 1816 г., коренного населения в селе Иванове было 2369 мужчин и 3063 женщины при 1329 домохозяйствах. Число пришлого населения, несомненно, было очень значительно, имея в виду, что только одних набойщиков в 20-х годах в селе указывалось до 10 000 человек. По имеющемуся плану села 1814 г. общая окружность границы его составляла 4,5 версты, улиц в селе без переулков считалось 27. Село располагалось по правому берегу реки Уводи (Посада на левом берегу еще не было). Границы села шли с запада от реки Уводи по ручью Павловскому, с юго-запада по 1-й Ильинской улице (в настоящее время — Зеленая). Крайний южный пункт — конец Панской улицы (в настоящее время ул. Станко), с юго-востока по Краснопрудной улице, с востока — по 1-й Борисовской ул. (в настоящее время ул. III Интернационала) и по Соковской ул. (ул. 12-го декабря); река Уводь была северной границей села. Около села начали образовываться слободы из земель, купувавшихся ивановскими богачами у соседних помещиков. В 1821 г. положено было начало слободе Ильинской (около деревни Воробьева) и в 1828 г. — Дмитриевской (выше Иванова у реки Уводи), где вскоре образовался Вознесенский Посад.

Организаторами и владельцами промышленных предприятий села Иванова были крепостные крестьяне графа Шереметева, владельца села. Только одному из предпринимателей Грачеву удалось в 1795 г. выкупиться из крепостной зависимости.

В числе крепостных фабрикантов имелась небольшая, но очень сильная экономическая верхушка. В «очередных книгах» 1812 г. по рекрутской повинности дана такая характеристика фабриканта М. И. Ямановского: «...Земли во владении имеется — пахотной 170 дес. 1734 саж., покосу 12 дес. 864 саж., лесу 55 дес. 252 саж... Капиталу, по

¹ Московский Телеграф, ч. XI, № 17, стр. 111—112.

² Там же, ч. XI, № 17, стр. 114.

³ Там же, стр. 112, 114.

удостоверению общества, имеет 300 000 руб. У него же имеется набоечная и ткацкая фабрика, на которых обращается капитал в год на 500 000 рублей... Из одного же семейства, после 4-й ревизии, по приказам его сиятельства... 1794 г., выпущена Михайлова сестра Харитина Иванова в замужество за Шуйского купца Ивана Иванова Шилова, а вместо выводной суммы покушной его, Ямановского, работник Алексей Афанасьев с женой и сыном причислены в вотчинные крестьяне. Из того же семейства в 1809 г. выпущена на волю Михайлова дочь Сигклития, для выхода в постороннее замужество, со взятием выводу в казну его сиятельства 10 000 рублей... Имеется аналогичная характеристика крупного ивановского торговца в том же документе: «Осип Васильев Гандурин... Земли во владении имеется — пахотной 149 дес. 420 саж., покосу 10 дес. 1920 саж., лесу 48 дес. 360 саж... Капиталу объявил 100 000 рублей. Торг имеет в Астрахани и по разным ярмаркам разными товарами, в котором обращается в год 250 000 руб. Из того же семейства в 1809 году... выпущена на волю Иванова дочь девица Харитина, для свободного выхода в постороннее замужество, со взысканием в казну его сиятельства суммы 7 000 руб. В 1807 году... взыскано с семейства Гандуриных в очистку рекрут 30 000 рублей, и за сию сумму за семейство Гандуриных зачен отданный в 1806 году за пороки в рекруты крестьянин Михаил Яковлев Смородин...»

Являясь крепостными графа, ивановские фабриканты пользовались свободой гражданских сделок, покупая, продавая, завещая имущество; сделки регистрировались в вотчинном правлении, и с них брали графские пошлины. Сделки совершались не только на имущество, но и на крепостных людей, так что крепостные фабриканты сами делались владельцами крепостных людей. По данным 1809 г. Ямановский имел 110 собственных крепостных крестьян, Ф. Бутримов — 151; всего 29 «купцов» крепостного села Иванова имели 672 крепостных «души».

Владея крепостными, фабриканты усваивали и крепостные барские привычки. В одном из сообщений о фабриканте Грачеве говорилось: «выехавши в бор гулять и кто не выдавши на гулянье не снимет против них задалеко шляп, то сажали многих, пригнавши из бору, под караул в черную» (арестантскую)¹.

В руках ивановских фабрикантов находилось и сельское самоуправление — выборные должности и сельский сход, действовавшие под верховным контролем графа, жившего в Петербурге.

Составляя сплоченную группу в селе и являясь его ближайшими под властью графа хозяевами через сельское управление, ивановские фабриканты имели еще оригинальную неофициальную форму объединения в религиозной организации раскола, или старообрядчества, через которую закрепляли еще более свою власть над населением села. Раскол проник в Иваново в первые же годы его возникновения — в XVII в. Как село ремесленное, со значительным в то время расслоением населения — выделением богачей и бедняков, Иваново представляло хорошую почву для раскола, в котором были элементы борьбы против феодального гнета, прикрываемого и освящаемого церковью. Раскол прививался в Иваново в его крайнем течении с отрицанием не только «православной церкви», но и царской власти. Иваново было очень сильным опорным пунктом раскола: источники XVII в. говорят даже о существовании около Иванова «богомерзкого училища». В начале XIX в., по словам местного исследователя Я. П. Гарелина, «Иваново представляло сплошное раскольничье поселение». Но характер раскола к этому времени совершенно изменился. Ивановские фабриканты сделали его, с

¹ Записки истор.-быт. отдела Государственного русского музея. I. Л., 1928 г. Стр. 237.

одной стороны, орудием своего влияния на народную массу, с другой стороны, орудием своих экономических операций; раскол связывал их со старообрядцами Поволжья, державшими в то время в своих руках важнейшие торговые пункты в Нижегородском крае и ниже по Волге. Названный выше исследователь отмечает, что «руководителями раскола являются именно богатые фабриканты»; характеризуя далее отдельные группы раскольников, он говорит: «достаточные люди из промышленного и земледельческого сословия... поддерживали раскол посредством пожертвований за здоровье себя и семейства и за упокой душ умерших сродников»; что касается раскольничьей массы, то это были «лица, придерживавшиеся раскола из угождения тем, от кого они зависели в жизни». Одним из приемов воздействия богатых раскольников на массу населения была раздача милостыни. «Раздача милостыни, — говорит Я. П. Гарелин, — практиковалась в обширных размерах... Собирал богатый обыватель толпу нищих (иногда до 1000 и более человек) обыкновенно в дни поминовения умерших родителей и родственников и начинал дележ копеек по 10, 15 и даже более на человека. Получившие милостыню призывали на дающих всевозможные блага земные, а умершим желали царства небесного и отправлялись большею частью в кабак, где милостыня сейчас же и пропивалась».¹

Бытовая сторона жизни богатых фабрикантов отличалась признаками довольства и роскоши. У фабриканта Грачева был большой каменный двухэтажный, крытый железом дом, обнесенный высокой стеной, окруженный всякими хозяйственными постройками: каменные и деревянные «людские», погреб, ледники, кладовые, конюшни, баня, обширный скотный двор, огород, фруктовый сад. Фабрикант Ямановский имел роскошный, лучший в Иванове, дом, выездные экипажи, многочисленную «дворовую» прислугу.

В журнале «Московский телеграф» в 1827 г. были описаны праздничные приемы у богатых фабрикантов: «Побывайте, — говорилось в статье, — на пирах жителей Иванова... Огромная зала, украшенная мебелью красного дерева, обитого штофной материей и раззолоченного в новейшем вкусе, наполняется жителями села Иванова обоего пола. Везде видите люстры, лампы, богатейшие ковры, горки, уставленные серебряной посудой, драпировку штофную с золотыми кистями и бахромою, богатые зеркала; везде лак, серебро и бронза и все в удивительной чистоте. Не только полы, окна и двери, но и лестницы в некоторых домах покрыты лаком; все это бывает освещено; множество прекрасных молодых женщин, одетых в бархатные и шелковые платья, сшитые по последнему вкусу теми же мадами Кузнецкого моста, которые шьют и на лучших московских щеголих...» «В Иванове на угощенье ничего не жалеют... официанты разносят блюда, а хозяева за каждым блюдом подчивают разными винами гостей своих, подавая им сами. Не считая этого подчиванья, пьют за здоровье каждого сидящего за столом, и всегда одним шампанским»...²

Надо полагать, что многое в этом описании прикрашено и преувеличено, как на это указывал другой корреспондент того же журнала, но факт широкого довольства богачей и стремление их к роскоши не вызывает сомнения. Упомянутый второй корреспондент, дополняя картину быта ивановских богачей, писал: «Прогулка по селу Иванову составляет приятнейшее удовольствие ивановских жителей. Блестящие экипажи проезжающего здесь купечества и богатых крестьян в праздничные дни проезжают по чистым и широким ивановским улицам; множество

¹ Я. П. Гарелин. Город Иваново-Вознесенск. Ч. I, стр. 43.

² Московский Телеграф, 1827 г., ч. XVIII, № 21, стр. 162—164.

красивых дрожек перемешиваются с ними, на которых молодые крепостные крестьяне, одетые по последней своей моде, нередко оспаривают пальму у богатых; ряды мужчин и женщин, одетых в нарядное платье, сидящих перед окнами домов, довершают картину...»¹.

Быстрый рост богатств в Иванове в начале XIX в., вызванный ростом промышленности, некоторыми авторами объяснялся еще одним фактором — широкой работой фальшивомонетчиков. Я. П. Гарелин говорит, что это был «промысел», чрезвычайно развитой здесь и в окрестностях в начале нынешнего (XIX) столетия.² В свою очередь, владимирский губернатор (1802—1812) князь И. М. Долгорукий в своих записках говорит об ивановских фабрикантах, как участниках этого дела: «Иваново, — пишет Долгорукий, — место государственное по своим изворотам торговли и богатству. Почти от одних переводов ценных получает до четырех тысяч доходу. Тут поселено с деревнями четыре тысячи душ, несколько церквей, каменных зданий до 50 с лишком, фабрик различных множество... Такое огромное богатство и почти баснословное, ибо оно между крестьянами выше всякой арифметической прогрессии, занимало мое любопытство неусыпно. Я разыскивал его источники и думал, что не без основания носится молва, будто фальшивые ассигнации положили издавна начало расширенной торговле в этом селении. Верю, что преступников иногда ловили, но... мелочь наказывали, а самых злодеев юстиция не достигала, то и не мудрено, что подобное зло от году укоренилось. Самые заведения представляли большие удобства к искушению. Без форм нельзя набивать полотен, формы надобно резать. Искусные резчики вместе с узорами выдeldывали пальмовые доски для бумажек. Таким образом главная масса богатства в Иванове и даже в Шуе, думать можно, истекала из сего рукоделия... В Иванове нет середины — или нищий, или богач. Новое доказательство, что благосостояние... жителей более происходит от способов сокровенных, нежели от общих средств доставать деньги... Около каждого богатого дома можно счесть до двухсот хижин...»

В тех же записках Долгорукий сообщает, что в начале 1808 г. в Иванове, «где по справедливости давнишнее крылось гнездо подобных преступлений, чиновники полиции, городской и земской, открыв вместе важного делателя ассигнаций, прислали ко мне весь его станок и кучу фальшивых бумажек». Началось «дело» и, как свидетельствует Долгорукий, был «связан и предан суду такой преступник, который бывал в разных приводах по другим губерниям и даже в Москве и везде отпускали домой по недостатку ясных доводов». Этим неуловимым преступником оказался известный ивановский фабрикант Бурыйин. «А он, — восклицает Долгорукий, — имел дом, фабрику и пользовался капиталом, доходящим не по молве, а по существу его приобретений, до двухсот тысяч»³. К такому капиталисту постаралась приложить руку «центральная юстиция», и Бурыйин вышел из воды сухим.

Говоря о «сокровенных» способах обогащения ивановских фабрикантов, возможность которых отвергать нельзя, владимирский губернатор не видел и не указал главного источника этого обогащения — жесточайшей эксплуатации ивановскими фабрикантами рабочих как непосредственно на их предприятиях, так и ткачей, рассеянных по Иванову и окрестным деревням.

Центральными рабочими фигурами в промышленности Иванова были

¹ Московский Телеграф, 1828 г., ч. XXIV, № 21, стр. 106.

² Я. П. Гарелин. Город Иваново-Вознесенск. Ч. I, стр. 105.

³ Богданов Л. Село Иваново в 1802 г. — «Рабочий край», 1936 г. № 266.

набойщики и ткачи, причем последние, как уже говорилось, редко были сосредоточены в предприятии фабриканта, а работали больше частью по своим светелкам в Иванове и окрестных деревнях, получая пряжу из раздаточных контор. Рабочие были «вольнонаемными», т. е. являлись крепостными помещиков, и, находясь на оброке, работали по договорам на предприятиях ивановских фабрикантов, также по своему положению крепостных. Работали мужчины, женщины и дети. На фабрике Грачева в 1828 г. указаны следующие группы рабочих: мужчин 550, женщин 400, всего 950; из этого числа — ткачей 550, цевочников 90, шпильников 80, нитовщиков 10, клеильщиков 4, набойщиков 75, штрифовальщиков 61, сновальщиков 8, резчиков 12 и «простых рабочих» 60.

Считаясь «вольнонаемными», рабочие фактически на предприятиях находились на положении крепостных по отношению к владельцу предприятия, т. е. несли двойное иго эксплуатации — со стороны помещика и фабриканта. Рабочие закабалались фабрикантом, обыкновенно платившим за них оброчную сумму помещику. Заработная плата набойщика в «золотой век» набойщика, период 1812—1822 гг., доходила до 20 рублей серебром в месяц, но к 1830 г., когда число набойщиков в Иванове определялось до 7000 человек и крайне усилилась их конкуренция, заработок их упал до 8 рублей в месяц. Ткачи при фабриках, расхаживавшие обыкновенно в летнее время по деревням, зарабатывали до 6 рублей в месяц, а ткачи сельских светелок — до 3—4 рублей. Женщины на фабриках зарабатывали от 1 руб. 50 коп. до 2 рублей, мальчики — от 1 руб. до 1 руб. 50 коп. в месяц.

Положение рабочего на предприятиях до некоторой степени характеризуется в договоре 1815 г. крестьян-набойщиков с фабрикантом Бурылиным: «Обязались мы, — говорится в договоре, — у него, Бурылина, при его набоешной фабрике набивать самым лучшим мастерством впредь на один год...; в течение сего времени жить нам у него, Бурылина, в добром поведении и во всяком послушании, а в работе наблюдать всякую чистоту, в противном случае повинны мы за нашу в работе неисправность законному наказанию; не дождавшись срока, нам от него, Бурылина, на другие фабрики не сходить и до вотчинного правления никаких хлопот не доводить, без воли хозяйской никому домой не уходить и дома без его позволения не проживать; за непослушание же наше или же за неисправную работу волен хозяин сослать, кого захочет...»

«Наказания», о которых идет речь в договоре, были не редкостью на ивановских фабриках. В сохранившихся за некоторые годы «ведомостях о наказаниях» вотчинной конторы села Иванова не мало имен крестьян, «за непослушание» наказанных по просьбе хозяина. Кроме того, в практике были наказания рабочих непосредственно фабрикантами. По доносу крестьянина В. Бабургина в 1803 г., подтвержденному специальной ревизией сельских властей, компаньон фабриканта Грачева Корноухов «у себя на заводе бил приписного работника... выдрав ему половину головы волосья и руку отшиб»; избитый вскоре умер. Сельские власти оставили этот случай без последствий. Известен и другой случай, когда тот же Корноухов «прибил безвинно» крестьянина Шехнина, посланного к нему за получением долга. Вызванный для объяснения по этому делу на сход фабрикант Грачев «оказывал наглость, переругал всех первостатейных крестьян весьма похабно и кричал: «просите, где хотите, я не боюсь; да... у себя в доме! сказал, что... если бы я был, то приказал бы дубиной ему (Шехнину) обломать руки и ноги и выбросить за забор». Само графское управление признало на основании фактов о Грачеве и Корноухове, что «из сего означается лютость, с какой содержатели фабрик поступают с подвластными им крестьянами».

Однако по поводу преступлений фабрикантов управление постановило, что «дело в том начинать нет поводу, а предать правосудию божьему, рано или поздно за злодеяние наказующему».¹

Работа набойщиков на ситцепечатных фабриках была очень тяжелой. «Набивные мастерские, — читаем в одном описании половины XIX в., — представляют для набойщиков не только душные помещения, но и такие, где с первого входа резко замечается, что находящиеся там люди питают свое дыхание совершенно другим газом, чем атмосферный воздух... В мастерских... в обильном количестве отделяются укусные газы и пары от набиваемых составов и красок. Эти испарения так заражают воздух в мастерской, что непривыкшему к такой едкой атмосфере трудно удержаться от слез и кашля, которые усердно сопровождают посетителя и на открытом даже воздухе... Многим кажется неправдоподобным, чтобы в этой кислой, едкой атмосфере, при 28° по Реомюру, в набивной мастерской возможно было бы работать, но истина, хотя и горькая, должна быть высказана со всеми ее губительными последствиями... Над таким кислым составом, налитым на штрифовальный круг, сидит штрифовальщик 12 или 15-летнего возраста и, растирая ежеминутно кистью краску, возобновляет также скоро и поверхность испарения укуснокислого газа; следовательно, при каждом дыхании его входят самые сильные полеты этого газа; набойщик подлежит равной участи, но он уже взрослый мужчина, привыкший к подобной атмосфере, а мальчик от 12 до 15-летнего возраста очевидно сидит над медленно своею отравой и выжидает времени, пока она на него столь сильно подействует, чтобы он мог только выбежать из мастерской. В дополнение на нем нет нижнего платья, он его сбросил от несносного жара в мастерской, и только одна черная, запачканная рубашка прикрывает сухое, изнуренное тело мальчика... Предписанные в предосторожность к сему форточки в окнах почти никогда не открываются потому, что товар плохо сохнет и, следовательно, можно, как выражаются фабриканты, «подтекать»... Сотни набойщиков страдают повреждением легких, и чахотка, этот первый гонитель и враг жизни набойщиков, не преминет оказать этим труженикам... скорый путь к могиле... Редко таковые (набойщики) доживают 35 лет».²

На чрезвычайно низком уровне находились жилищные условия и питание ивановских рабочих. Крестьянский дом состоял из передней избы, сеней и «задней горницы», строившейся без печи. В «передней», где очень много места занимала печь, жило все семейство, из скольких бы человек оно ни состояло. Горница, или «холостая», служила для склада различных предметов, необходимых в хозяйстве, а в летнее время — для приема гостей. У каждого окошка в жилой избе помещался ткацкий станок, на котором работали женщины. Тут же в избе на зиму помещали мелких домашних животных, требующих тщательного ухода за собой; под печью обыкновенно помещались куры. Воздух в жилище портился до невозможности.

Питание рабочих было очень скудным. Обыкновенную пищу составляли — черный хлеб и, в виде роскоши, ячменные лепешки на воде, серые щи без приправы, вареный горох, пареная репа или бушма, редька, из которой приготавлилось такое большое количество блюд, что они даже сложились в особую поговорку: «редька — триха, редька — ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька так». Работники на фабрике,

¹ Записки истор.-быт. отдела Государственного русского музея. I. Л. 1928 г., стр. 236—237.

² И. Е. Несытов. Колеристы и набойщики Владимирской губернии. Владимирский историко-статистический сборник, 1869 г., стр. 68—72.

приходившие из соседних деревень, часто оставались без горячей пищи, довольствуясь сухоядением.

Иллюстрацией тяжелого материального положения рабочего люда села Иванова служат сохранившиеся в документах описи имущества некоторых крестьян. В описи 1801 г. имущества крестьянина И. Д. Красильникова, в семье которого были — жена и трое малолетних детей, указаны — «изба передняя небольшая новая, при ней ветхие сени небольшие и горница, покрыто все ветхой драпью»; в «передней избе» — «стул суконный осиновый», из платья — «шуба баранья поношенная, халат суконный ветхий, два сарафана крашенинных, шубка крашеная ветхая, две шляпы коровьих худые, халат набоечный детский, три подушки ветхие с охлопками»¹.

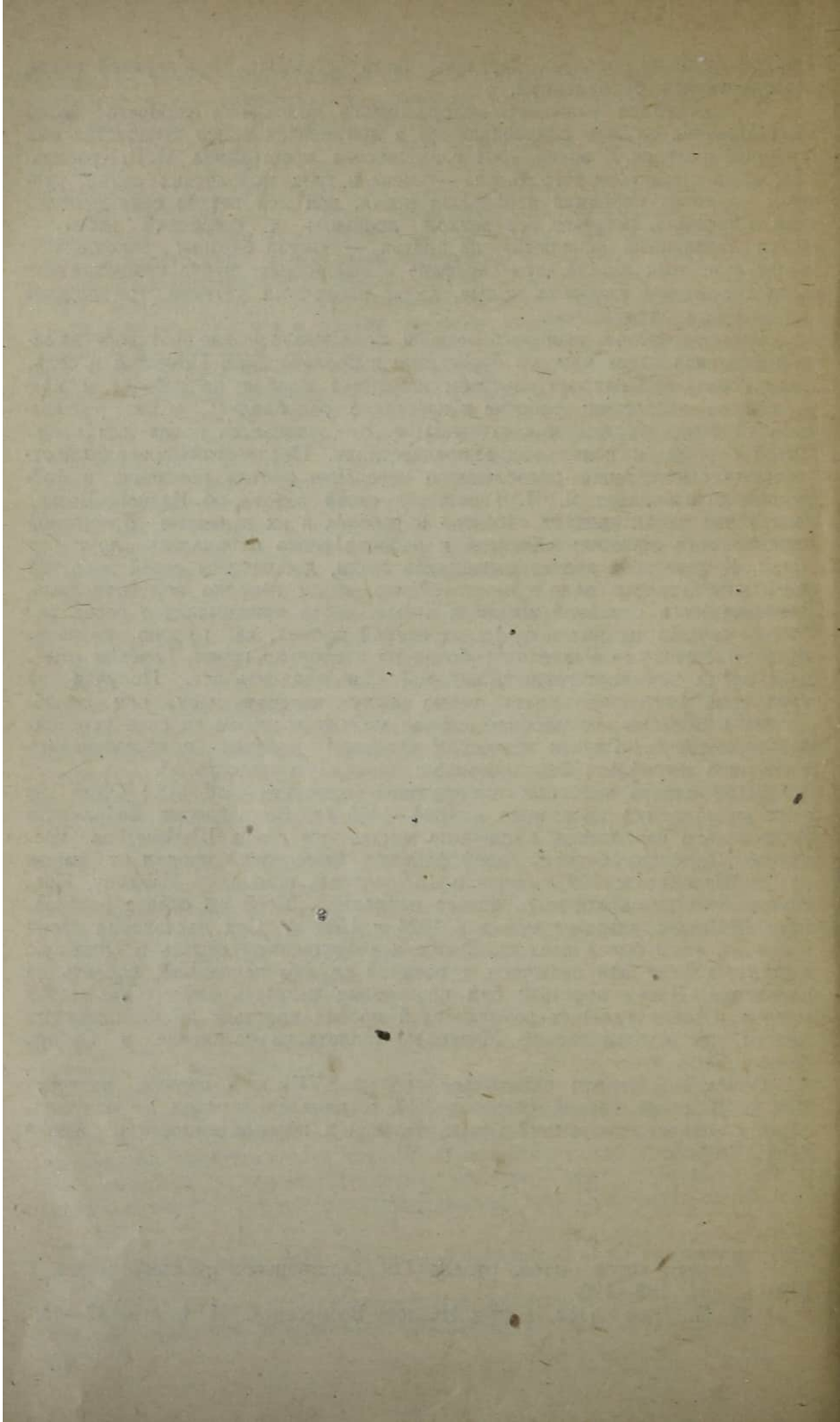
Вся обстановка ивановской жизни показывала резкие противоречия зарождавшихся здесь классов буржуазии и пролетариата. Помещик и сельские богачи под покровительством помещика давили на рабочее и крестьянское население; рабочие и крестьяне озлоблялись, у них развивалась глубокая вражда к «хозяевам», т. е. создавалась почва для классовой борьбы, и появлялись ее предвестники. Предвестниками ее были отдельные выступления озлобленного населения против помещика и фабрикантов. Фабрикант Я. П. Гарелин в своей работе об Иваново-Вознесенске так характеризует «хозяев» и рабочих и их взаимные отношения описываемого времени: «Хозяева и рабочие резко отличались друг от друга. К категории хозяев относились люди, добившиеся своей энергией возможности вести дело самостоятельно, люди нередко полутрамотные, деспотичные в семейной жизни и весьма часто прижимающие своих рабочих, налагая на них штрафы за всякий промах, за всякую незначительную ошибку...» Разделяя рабочих на несколько групп, Гарелин отмечает среди них «катеорию», которой «...побаивались все. Получая за труд свой ничтожную плату, вечно рискуя потерять место, они озлоблялись и при каждом удобном случае мстили хозяевам за свое угнетенное положение... Глухая вражда к хозяевам рабочих поддерживалась постоянно штрафами, взыскиваемыми за всякую малость...»².

Были случаи массовых выступлений крестьян—рабочих. Одно из этих выступлений произошло в 1824—1826 гг. Во владении фабриканта Ямановского находились купленные им на имя графа Шереметева крестьяне. Ликвидируя часть своей фабрики, Ямановский продал от имени графа Шереметева 109 мужчин и 137 женщин помещику Маркову. Крестьяне отказались признать нового владельца. Дело об отказе разбиралось Шуйским уездным судом в 1824 и 1826 гг. Суд постановил троих крестьян, «яко более всех склонных к возмущению» отдать в военную службу, а если они окажутся к военной службе негодными, сослать на поселение. Двоих крестьян суд постановил наказать кнутом по десяти ударов и, «как главных возмутителей прочих крестьян и безнадежных притти уже к повиновению Маркову... сослать на поселение в Сибирь безвозвратно...»

Описанный период охватывает конец XVIII в. и первую четверть XIX в. В конце первой четверти XIX в. начался переход от мануфактуры к машине, вызвавший новые явления в промышленности и жизни села Иванова.

¹ Записки истор.-бытов. отдела Государственного русского музея. I, 1928 г., стр. 188—190.

² Я. П. Гарелин. Город Иваново-Вознесенск. Ч. I, стр. 47—48.



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Доклад т. Жданова о журналах „Звезда“ и „Ленинград“	3
Выше идейный уровень в литературе	26
А. Благоев. 9 февраля. Иваново. Когда станки гремят вокруг. Предвесеннее	30
М. Шощин. Где-то есть девушка.. Возвращение Осипа Петров- вича. Хозяин. Иван из Иванова	35
И. Дружинин. Из книги „Великие будни“ (I. Утро нового города. II. Сапер. III. Старый знакомый. IV. Дорога)	59
М. Кочнев. Серебряная пряжа. Миткалевая метель. Березовый хозяин. Пальмовая доска. Шаль с кистями	63
Д. Семеновский. Привет — сильным! Возвращение. Волга . .	103
М. Бритов. Стихи военных лет. (Он с нами был. Зимняя ночь. После боя. Гостеприимна тесная землянка. Память. Встреча в пустыне)	108
В. Горбунов. Сапожник. Повар	115
В. Жуков. Старые окопы. Рисунок. Начало. Зов Родины. Березо- вая аллея. Мать	124
В. Зимина. Сын. Лес. Весны идущей нежное дыхание	128
П. И. Галкина. Всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске и обра- зование первого Совета рабочих депутатов	130
П. М. Экземплярский. Из прошлого города Иванова	143

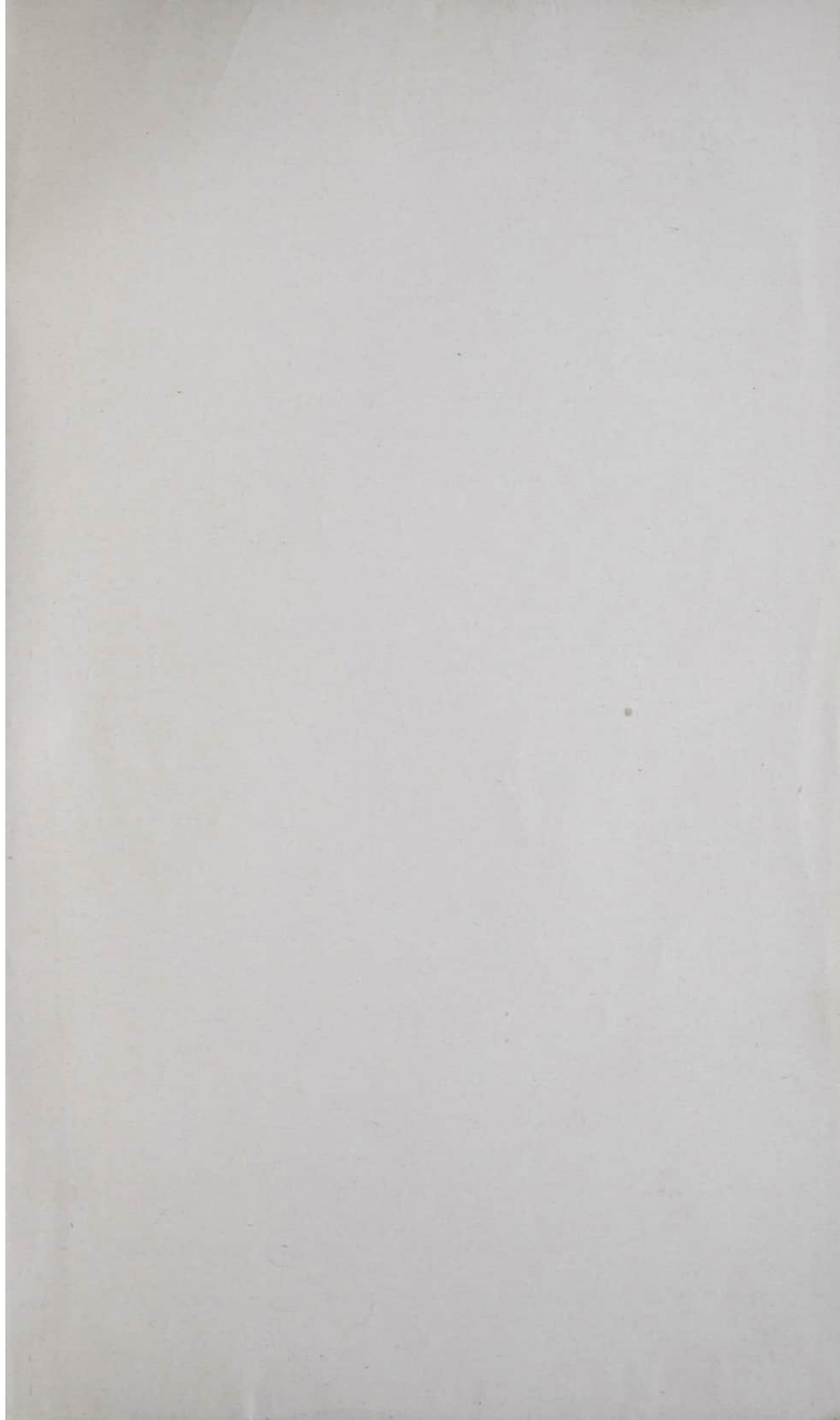
Редколлегия: М. Х. Кочнев, А. Н. Благоев, М. Д. Шошин.

Художник И. Т. Колочков.

Подписано к печати 7/IV 1947 г. КЕ 00642. Печ. л. 10½. Уч.-изд. л. 10,15.
В печ. л. 38160 тип. зн. Тираж 10000 экз. Цена 5 руб. 75 коп.

Типография издательства Ивановского облсовета депутатов трудящихся,
г. Иваново, Типографская, 4. Заказ № 8529.

ЭБФ



5 руб. 75 коп.

